



ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД

СТИХИ
И ПОЭМЫ
РАЗНЫХ ЛЕТ

ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД

СТИХИ И ПОЭМЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

*...Кто же я? Я один?
Раб? Кусок чьей-то жизни и плоти?
Я готов, Господин,
Но уж если я раб,
То Господен!*

1973

*...Но если я и вправду сотворен, —
То пусть я горд, завистлив, зол и слаб,
Но я Твое подобье!
Я не раб!*

1978

Гражданская преемственность —
право, жизнь и достоинство
Москва — 2018

УДК 82-1
ББК 84(2)6
А 37

ISBN 978-5-905559-14-3

А 37 Айхенвальд Ю. А. Стихи и поэмы разных лет. —
М. : Гражданская преемственность — право, жизнь
и достоинство, 2018. — 264 с.

Настоящее издание воспроизводит изданную в 1994 г. обществом «Мемориал» книгу, в основу которой лег сборник, составленный автором в начале 90-х годов не столько для публикации, сколько для чтения друзьям. До 1994 г. книги стихов Ю. Айхенвальда выходили только за рубежом (исключение — крохотный посмертный сборник, выпущенный к сороковинам).

© А. Ю. Айхенвальд, 2018.

© Художественное оформление. О. Б. Филиппова, 2018

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ

*Я хочу, чтоб остался,
Со мной не ушел,
Мир,
Увиденный только моими глазами,
Мир,
Услышанный только моею душой!*
Юрий Айхенвальд

Прошло еще очень мало времени с тех пор, как не стало Юрия Александровича Айхенвальда. Утрата очень велика. Писать о ней очень трудно. В стародавние времена для этого существовал особый жанр — плач. Мне этот жанр не под силу. А любая статья — будь она предисловием или послесловием — кажется, пока неизбежно обречена на неудачу. Несмотря на это, я взяла на себя смелость написать эти строки. По долгу старого друга.

Около сорока лет назад, весной 1955 г., через несколько дней после освобождения Юрия Айхенвальда из ЛТПБ — так называлась Ленинградская тюремная психиатрическая больница — жена его, Валерия Герлин, о любви к которой он написал столько прекрасных, чистейших стихов, с которой я навсегда подружилась незадолго до этого, позвала меня в гости познакомиться с возвратившимся в Москву мужем. С того дня чувство близости, потребности видеть, разговаривать, обсуждать вместе прочитанные книги,

мысли, события, дарить друг другу новых друзей не исчезало никогда.

Фамилию Айхенвальд за несколько дней до первой встречи я услышала от моего учителя, прославленного теперь философа Алексея Федоровича Лосева. В горестной беседе о погубленной русской культуре он пылко сказал мне, что знал двух великих русских критиков XX-го века: «Это были два еврея! Гершензон и Айхенвальд!» Речь шла о Михаиле Осиповиче Гершензоне — авторе книг о Грибоедовской Москве, о декабристе Кривцове и др., а также о Юлии Исаевиче Айхенвальде, который известен своими «Силуэтами русских писателей», книгой «Революция, ее вожди и ведомые» и др. Тогда же и дал мне А. Ф. Лосев том со статьей о Белинском. С той самой, которая начиналась словами «Белинский — это легенда...» и в которой после полного развенчания героя статьи говорилось, что при всем этом именно Белинский впервые возвел появление литературного произведения в ранг события. Тогда же я вспомнила и то, что в бумагах моего отца с 1922 г. сохранилось извещение из Академии Вольной культуры о заседании на тему «Трагедия и современность». Участники заседания назывались в том извещении «собеседники». Среди них были обозначены изгнанные в том же 1922 г. С. Л. Франк и Ю. И. Айхенвальд, а также и оставшийся в России мой отец — философ-неокантианец, которого хорошо знал Алексей Федорович Лосев. Когда я показала потом внуку Ю. И. Айхенвальда — Юрию это извещение, он сказал: «Смотри, как давно мы с тобой рядом!» Я рассказываю здесь об этих двух эпизодах не только потому, что они сами по себе интересны, но и потому, что тема явной

и неявной связи поколений, тема памяти о прошлом, которое не уходит из жизни, а навсегда остается в ней, оказывает на нее влияние, направляет поступки, тема силы корней, тема греха забвения для Ю. Айхенвальда чрезвычайно важны и наряду с другими темами присутствуют в его стихах постоянно. Он писал:

*И я уйду из этих строк.
Мне надо только все запомнить,
Мне нужно этим все заполнить,
Уйти, словно вода в песок
Или как в землю капли пота,
В стихи, статью или урок, —
В чернорабочую работу..*

Стихи, собранные в этой книге, не требуют никакого специального «ключа» — они говорят сами за себя... Биография автора, время его жизни, охватывающее целую эпоху страха, знание многотрудной и трагической истории страны, в которой все мы живем, его чувство связи истории с сегодняшним днем, конечно, служат комментарием к этим стихам и облегчают современному и будущему читателю понимание многих поэтических ассоциаций автора, его эпитетов, сравнений, метафор, парафраз, аллюзий и афоризмов — всего того, что станут изучать будущие литературоведы.

Разумеется, убеждения и чувства автора могут быть прекрасными, а литература при этом не столь уж хорошей. Здесь этого противоречия нет. Прочитав стихи Ю. Айхенвальда, читатель увидит удивительную цельность, убедится, что художественная форма его стихов традиционна, даже хрестоматийна — в том

смысле, что стихи эти вполне достойны войти не только в антологию русской поэзии, но и в нет, не поддавался он ни соблазну эстетики авангарда, модернизма или постмодернизма, ни соблазну развлекать своими стихами публику. Есть ясность дарования, замечательное мастерство.

Окружающая его видимая реальность была такой, какой она была — жестокой, косной, тупой, злой, аморальной и внеморальной... Она, конечно же, не совпадала с представлениями о добре, о достоинстве человека, не совпадала почти ни с чем из того, что усвоил Юрий Айхенвальд в детстве от столбовой дворянки — бабушки Нины Кирилловны, с которой он остался после ареста родителей, и из прочитанных им книг, — от всего того, что досталось ему в наследство от российских интеллигентов. Но, кроме видимых свойств, от которых он не мог не зависеть, были в этой действительности и свойства невидимые, те, которые как бы уже и не существовали, но они могли в любой момент проявиться и вопреки всему проявлялись. В своей книге о Дон Кихоте Ю. Айхенвальд одно из таких свойств назвал каплей добра. Одной только каплей. Но ее было достаточно для обретения надежды на спасение.

При столкновении действительности реальной и совершенно иной у Ю. Айхенвальда возникало какое-то недоумение, в нем пробуждалась потребность, а вместе с ней и способность слышать «божественный глагол». Рождалась другая реальность — художественная. А в ней мораль, этика, любовь, добро существовали и ничем не заменялись. Это давало силы.

Знаменитый Л. Витгенштейн писал, что при сомнениях в чем бы то ни было человеку необходимо обладать

чем-то несомненным. Он пояснял: «...Если я хочу, чтобы дверь вращалась, петли должны быть неподвижны...»
У Ю. Айхенвальда читаем такие строки:

*Мне нужно ощущение основы,
Которая всегда была жива...
И такое стихотворение:
Есть у стихов достоинство и честь,
Когда стихи не вымысел, а весть.
Тогда стихи не слышатся легко:
В них слово плотно, как земля, легло.
Зато они — опора для меня,
Как дом в огне — опора для огня.
Пусть без остатка выгорит в словах
Все то, что в них — ничтожество и страх,
Все то, что в них — тщета и суета,
Убранство храма,
А не смысл креста.*

Все сложилось так, что автор книги, которая сейчас перед вами, в России известен не как поэт. Сборники его стихов и прозы «По грани острой», «Високосный год» и два тома исторического исследования «Дон Кихот на русской почве» были изданы на Западе. У нас же Юрий Айхенвальд — учитель литературы в школе, переводчик стихов и пьес, историк театра (ему принадлежат книги о знаменитых артистах Остужеве и Сумбатове-Южине). Учитель удивительный. Говорить ученикам правду, казалось бы, непреложное правило педагогики, но слишком хорошо известно, что отнюдь не все учителя следовали этому правилу. Юрий Айхенвальд был не только просветитель, но, конечно,

и проповедник. Прежде таких, как он, называли властителями дум! Он в чем-то похож на Алешу Карамазова в главе «Речь у камня» с его словами: «Может быть, вы не поймете, что я вам скажу... Но вы все-таки запомните...» И они запоминали. Стремилась понять.

Виртуоз монолога, вызвавший к жизни столько диалогов! При полнейшем отсутствии какой бы то ни было вульгарности, агрессивности. Ученики — такие разные — становились его собеседниками, друзьями, обсуждали со своими сверстниками, с родителями то, что слышали от своего учителя, приводили к нему своих друзей... Ему важно было не только пройти в жизни «по грани острой», но, израненному на этом пути, — не пресмыкаться потом перед силой и не благодушеествовать, не пытаться

*С лакейской гордостью оправдывать
Чужую боль своею болью...*

Совсем недавно, уже после смерти Ю. Айхенвальда, общество «Мемориал» издало его стихи. Тираж был очень маленький, но и его оказалось достаточно для того, чтобы в Москве заговорили о новом поэтическом имени. Новым оно, конечно, не было.

Жизнь Ю. Айхенвальда продолжается. Теперь уже в истории, то есть навсегда.

Юдифь Каган
1994

СТИХИ

БЫК

Толкователь Библии

Я, как бык, попался в клетку,
Я, как бык, попался в сети,
Я теперь за все в ответе.
Я катаюсь по траве.
Я у пули в пистолете
С давних пор был на примете,
Уж она меня пометит
Бороздой на голове!
А четыре автомата
В четырех углах поляны
Дожидаются расплаты
Лишь с земли я снова встану.
А четыре лейтенанта
В четырех углах поляны
Уничтожат пасквилянта
За его характер странный.
Но в кровавой дымке бреда
Обозначилось сиянье:
В безысходности — победа
Обреченных на закланье!
Белым дымом подымуся
Я до облаков.
Есть у Господа Иисуса
Царство для быков.
Путь широкий, светлый, млечный,—
Я гулять там буду вечно
По земле из облаков!

Я себе сломаю шею.
Я рогов не пожалею.
— Лейтенант, копай траншею!
Пли!
В белом воздухе ныряя,
Я всплыву, как пробка,
К раю,
В белом воздухе ныряя,
Оттолкнувшись от земли!

Ленинградская тюрьма, 1953

РОДОСЛОВНАЯ

Был мой прадед
 в Балте раввином.

Не любил он модных затей.
Он ходил в лапсердаке длинном
И еврейских учил детей.
Знал он прочно, что плач и стоны
Слышит Бог наш века подряд,
А спасенья нет...

 По закону
Был обманщик-Христос распят!
И на тихом еврейском кладбище,
Под тяжелою белой плитой,
Кто откликнется, кто отыщет,
Где он вечный нашел покой!
Просто смерть,
И кисть винограда,
И под кожицей свежий сок,
Никому ничего не надо
В самой дальней из всех дорог!
А потом мальчуган чернявый,
Сын раввина, в семнадцать лет
Вдруг решил — философы правы,
И еврейского Бога нет.
Просто жизнь,
И кисть винограда,
И под кожицей свежий сок —
А потом ничего не надо,
В самой дальней из всех дорог!

И в гостинице, на Лубянке,
Без раздумья и до конца
Отдал сердце он русской дворянке
И крестился
Ради венца.
Был он проклят родней за это,
Только не был ничьим слугой
Почитатель русских поэтов,
Модный критик,
 эстет,
 изгой.

И пускай он не понял века
Или веком не понят был, —
Над собою,
Над человеком,
Он земных богов не любил.
И на тихом берлинском кладбище,
Под тяжелой гранитной плитой, —
Кто откликнется, кто отыщет,
Где он вечный нашел покой?
А упрямый его сынишка
Убедился в пятнадцать лет:
Философские лживы книжки,
Революции — вот ответ;
И ушел он в ночь,
В лихолетье.
Покачнулся, казалось, гнет.
Шел семнадцатый год столетью.
Шел России — тысячный год.

И пускай он поверил в чудо
Им самим творимых легенд —
Опрометчивый, узкогрудый,
Непреклонный интеллигент, —
Только где, на каком кладбище,
За какой сибирской рекой, —
Кто откликнется? Кто отыщет? —
Он нашел, наконец, покой...
И не знал я другого чуда,
И не слышал иных легенд,
Кроме тех, что знал
 узкогрудый,
Непреклонный интеллигент.
Неизбежность кратчайших сроков
И права на любой урон...

Ведь никто из его пророков
Право жить не возвел в закон, —
Просто жизнь, и кисть винограда,
И под кожицей свежий сок,
Право выбрать не ту, что надо, —
Ту, что хочется,
 из дорог...

* * *

Листвою ветка шелестела.
А я сломал ее со зла.
Какая-то упругость тела,
Строптивость тела в ней жила.
Я не хотел ее ломать.
Но мне хотелось удержаться,
Чего-то злого не сказать, —
А ветка медлила сгибаться,
И хрустнула.

А я сумел
Ответить вежливой
улыбкой...
Я ветке смерти не хотел,
Она
не оказалась гибкой...

1957

* * *

Есть не враги, а антиподы.
Они куда страшней врагов.
Но что они другой природы,
Нельзя узнать из паспортов.
Они на нас совсем похожи.
Они разумны и тихи.
Они грустят и любят тоже.
Им даже нравятся стихи.
Но есть слова — слова-зарницы,
Как отшлифованный хрусталь,
В их сердцевине шевелится,
Дрожит, дробится, брезжит даль...
Но антиподу это вчуже.
Любое слово для него —
Как отраженье блюдца в луже:
Блестит — и больше ничего!
И с антиподом спор опасен.
Он, споря, ненавидит вас.
Но даже если и согласен,
То не наденет ваших глаз,
И скажет другу: «Между нами
(Ведь правота — его кумир!)
Не так, как мы, а вверх ногами
Иные люди видят мир»...

1959

СВОДКА ПОГОДЫ

Ночь у радиоприемника

Памяти

Е. Гуревича

Б. Слуцкого

В. Фурмана

Как сообщает сводка погоды,
Завтра не будет чудес природы.
Где-то кого-то целует кто-то,
Кто-то кому-то в мире не мил,
И прорывается в ритм фокстрота:
«Как комментатор наш заявил...»
Где-то в секрете идут работы.
Значит, кого-то не любит кто-то.
Где-то идут заседания лиги.
Чьи-то писатели пишут книги.
И восстают в ежедневных строках
За добродетель! Против порока!
Парочка где-то лежит в траве.
Где-то на Кипре или в Москве —
Нет, не в Москве, —
На Кипре в подвале
Трех пареньков вчера расстреляли.
Трех пареньков вчера расстрелял
К этому призванный трибунал,
Трех пареньков,
За то, что клянутся
Не примириться
И не согнуться.

Где-то кого-то целует кто-то,
Как сообщает автор фокстрота.
Кто-то кому-то в мире не мил,
Как комментатор наш заявил.
Трех пареньков, которых убили,
Где-то запомнят, где-то забыли.
Чьи-то мальчишки
Снова клянутся
Не примириться
И не согнуться,
Кто-то зовет
За Родину чью-то
Жизнь отдавать
В любую минуту...

Как сообщает сводка погоды,
Завтра не будет чудес природы.

1957

УЧЕНЫЙ

— Чем сейчас занят профессор?

— Профессор борется с Голосовкером, автором книги о богах и титанах. Профессор считает, что боги правы, и мятежные титаны были наказаны справедливо.

Из разговора

...«Кто прав? Титаны или боги?»

Я думаю о старике,
Он заперся в чужой эпохе,
Как в собственном особняке.

Там окна были с витражами.
Всё витражи преображали.
И сочетаньем внешней жизни
С цветным и четким витражом,
Изменчивого с неподвижным,
Был человек заморожен.

На нем ничто не удержалось:
Ни долг, ни чувство, ни семья,
Ни человеческая жалость,
Ни право поберечь себя.

Я вспомнил маленькую гору:
Ни капли зелени живой.
Ей надо быть крутой и голой,
Чтоб чувствовать себя — горой.

1961

ГАМЛЕТ В 1937 ГОДУ

А Вы слышали песни
Соловьев в Соловках?
— Ну-ка, выстройся, плесень,
С кайлами в руках!
Ты, очкастый, чего невнимателен?
Исключаешься ты
Из рабочей семьи,
И катись ты с земли
К Божьей Матери!

И распались кружки,
Раздружились дружки,
Потому что история
Любит прыжки,
Потому что безумный
Плясун на канате
Ненавидит
Времен пресловутую связь.
— Датский принц!
Вашу шляпу и шпагу!
Копайте!
Ибо Дания ваша
Без боя сдалась.

И распались кружки,
Раздобрели дружки,
Потому что история
Любит прыжки.

— По грошу
Положите в церковные кружки!
Помолитесь
За целые ваши горшки
Божьей Матери-Деве,
Пречистой старушке!

Датским принцем
Нельзя называться без Дании.
Вот земля и лопата —
Ваше «быть иль не быть».
Датский принц,
Что нелепей, смешнее, бездарнее,
Чем о званье, призванье своем
Не забыть!?

Датский принц
Удаляется в смутные дебри.
Он лежит,
Умирает на призрачной койке.
Он молчит,
С королевским достоинством терпит,
И, конечно, заплатит
За все неустойки...

А в квартире
Кончалось счастливое детство:
Образованный мальчик,
Из хорошей семьи.

И за что-то ему
Перешло, как наследство,
Званье Датского Принца,
Короля
Без земли.

1961

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

*Посвящается художнику Л.,
с которым я был в одной
камере и который, как я
слышал, умер
в тюремной больнице*

Вот так резинкою стирают
Рисунок конченный с бумаги.
Лежит художник, умирает.
Не хочет супа из салаки.
Лежит, пришпиленный к пространству.
Его стирают.
Делать нечего!..
Глядит тюремное начальство,
Как белизна в окне просвечивает.
А он толкует о Моне,
Рисует спичками горелыми
На оборотной стороне
Коробок из-под сигарет.
То черный цвет, то серый цвет
Опять перекрывает белое...

1962

СТИХИ О СУРОВОСТИ

Нужна суровость человеку —
Шершавый и глухой фасад,
Слепое каменное веко,
Невидящий холодный взгляд.
Так камни намертво молчат.
Они ведь ничего не видят,
Они лишь в сказках вопиют,
Когда на них кого-то бьют
Или на смерть ведут, подталкивают.
Тут люди знают, да помалкивают, —
Не то что камни вопиют!
Но человеку что осталось?
Рванулся белою вороной —
И полетел. И погорел.
А видел — не окаменел!
И строй стоит, не шевелится.
И каменный налет суровости,
Как будто известь на суставы,
Откладывается на лица.
Суровость — это как предел
Необходимой обороны.

1961

СМЕРТЬ ВИНТЕРШТЕЙНА

Описано с точки зрения заключенного,
оставшегося в живых

Духовные ценности, как ни странно,
Лагерный не обесценил режим,
Их неохотно брала охрана,
Но все же за них покупали жизнь.
Честностью надо платить?
Платили.
Достоинством человека?
Платили!
Только бы до смерти не забили.
В землю, как колышек, не забили.
Люди умели себя вести.
Вели себя с работы в барак.
Вели себя из барака в строй.
Вели — и держали себя в руках.
А Винтерштейн закурил сигарету,
Повел себя совершенно иначе,
Повел себя прямо на цепь постов.
Дело не в том, что он был богаче,
Ценностей этих много скопил, —
Видно, он от роду был скупым.
Упал на землю — и канул в Лету.
Потом охранник шагнул, наступил,
Растер непогасшую сигарету.

1962

ОТЩЕПЕНЕЦ (1937–1961)

Ни к чему, ни к чему, ни к чему
полночные бденья
И мечты, что проснешься когда-нибудь
в веке ином.
Время — время дано. Это не подлежит
обсуждению,
Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нем.
Н. Коржавин

Это было до нас. Это было давно.
И тогда говорили, что время дано.
Не стоял телевизор у каждого в комнате.
О, романтика нужного людям труда!
— Человек невиновен.
— Да полноте, полноте,
Что без жертв не обходится,
Это запомните!
Отщепенец, как щепка, летит в никуда.
О судьба человека, судьба отщепенца!
Отщепиться
от времени и от людей...
— Вам тепло в телогреечке,
Ваше степенство?
А свобода все дальше,
Мороз все лютей.
А свобода все дальше —
И фальши не надо:
Можешь скалы ломать.
Можешь землю долбить,—

Не предложат тебе
Соловьиного сада,
А предложат тебя, паразита, добить.
Разве только поможет тебе фельдшерица,
Если ты не особенно хил и сутул.
И проводит сестрица
В палату больницы.
— Как светло мне
В твоём Соловьином саду!..

А на воле растут города, города...
И уже телевизор у каждого в комнате...
— Все давно позабыли, а вы ещё помните?
Все живут, все работают, полноте, полноте!
.....
Отщепенец, как щепка, летит в никуда.

1961

* * *

...Одежда всякая на мертвом
Отслаивается от тела,
Становится ненужной, странной,
Как будто бы с плеча чужого,
Хотя ведь именно сейчас
Лицо и лацкан пиджака,
Венок и гроб — одно и то же:
Все состоит из неживого.
Наверно, дело просто в том,
Что камень так и создан — мертвым,
Но невозможно примириться
С простым, как будто, утверждением:
«Вот это — мертвый человек».
И вот нам кажется, что он
Мертвее своего костюма.
А он не человек.
Он — мертвый.
С ним общего во мне не больше,
Чем с глиною, куском земли,
Или с любым изображеньем.
Мертвец — изображение сходства
Нас всех с землею и камнями,
Меня, живого,
С неживым...

1961

ДИАЛОГ О ВЕЧНОМ ЖИДЕ

Поют. И пьют. И бьют.

Уют!

Гуляют. Весело живут.

А рядом, здесь, двадцатый век,

Всех девятнадцати — наследник,

Обходит, ищет:

Собеседник,

Ровесник нужен,

человек.

— Ты?

— Я с семнадцатого года.

— А ты?

— С двадцать седьмого года.

— Ты?

— С тридцать седьмого года.

— А кто от Рождества Христова?

— Никто от Рождества Христова,

Ищите вечного жида.

— Где вечный жид?

— Ах, вечный жид!

Убит. Расстрелян. Арестован.

Во рву под Киевом лежит.

— Но разве на земле забыты

Умерших скорби и заботы

И разве их всегда, всегда

Один за всех не помнит кто-то?

Ты?

— Я с семнадцатого года.

— А ты?

— С тридцать седьмого года.

— А раньше?

— Раньше было что-то...

Ищите вечного жида!

1960

НОВЫЙ ГОД

...Итак, Москва. Шестьдесят первый год.
Двадцатый век от Рождества Христова.
Практический, бухгалтерский отсчет.
И все-таки положен миф в основу.
Он был распят, какой-то человек, —
И от него считают дни рожденья,
Дни смерти всех и дни рожденья всех...
Двадцатый век и просвещенный век,
Какое неразумное решенье!
Пьет фарисей
Вторую чашку кофе.
А рядом, с синяками от камней,
К своей так называемой Голгофе
Проходит Он.
Страдалец за людей.
Но что случилось за двенадцать дней?
За двадцать лет?
За несколько столетий?
— Не происходит ничего на свете.
Христос все так же продолжает путь
К своей так называемой Голгофе.
Пьет фарисей вторую чашку кофе
И просит Сына Божьего свернуть.
— Так значит, не распяли?
— Не распяли: кассация в священном
трибунале.
— Великий инквизитор?
— Сам Пилат!
— Что, отклонят?

— Конечно, отклонят!

— Но как нам ждать пришествия второго,
Раз ты еще не уходил с земли?

.....

Распяли снова.

Обознались снова.

Серебренники новые ввели.

1961

ЦЕРКОВЬ НАД ВОЛГОЙ

...И вовсе красоты не понимая,
Они сложили эту красоту.
Возьми, Господь, перед вратами рая
Поставь на облака церквушку ту!
Кирпич ее — простой песок и глина —
Стал в этих очертаньях невесомым.
И ангелы бесплотными руками
Ее, такую, без труда могли бы
Перенести на облачные склоны.
А люди по кирпичику таскали,
Потели, надрывались, выпивали,
Баб тискали
 и доченек ласкали,
И строили.
А для чего — не знали,
Построили.
Да так и не узнали,
Что над землею — полночь, пустота,
И вот туда-то тянется крестами
Беспомощная эта красота!
Она как дым и как молитва тянется,
А в куполах, как в кулаках, кресты.
Она
Как очарованная странница
У синего подножья высоты!
И все равно,
Зачем она построена,
Зачем в нее людьми
 превращено

Все то, что здесь
им дешево не стоило:
И кровь, и пот, и хлебное
вино.

1961

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Есть притяжение тоски,
Как у магнита притяженье,
И бесконечно приближенье
К вещам, что без того близки.
И вот октябрьская листва
Затягивает, словно омут,
Хотя она давно знакома,
Как в книжках общие места.
Но листья вянут, словно лица
Умерших.

 Это смерти знак —
Обманчивая желтизна.
А глубже темнота таится.
И, как вода из-под льда,
Вдруг проступает темнота:
На желтом проступают пятна.
Лицо
Или ноябрьский лист
Темнеет
И уходит вниз,
Где жизнь совсем невероятна.
Но лес, как черная канва,
Деревья, словно острова,
Вдруг снова, снова светят белым!
О первый снег! Чудесный миг!
И к белизне вернулся мир,
Обратный шаг из мрака сделав.
Он мертв пока еще,
Но снег
Его привел к той самой грани,

Когда лежит, смертельно ранен,
У края жизни человек.
А дальше следующий шаг.
Словно глаза, открылись почки,
И кажется, теплеет почва,
Апрельской зеленью дыша...
Но мы пока что в октябре,
Словно в коробочке стеклянной.
И все мне кажется стихами
То о себе, то о тебе.
Вон паренек сидит-глядит,
Своей девчонке руку гладит.
Он
С неизбежностью не сладит.
Она
Его не победит.
И будет молодость при нем.
Она не в молодости тела,
А в ощущении предела,
Который будет перейден.
И вновь придет пора весны,
Где все другое: листья, лица,
И ничего не повторится,
И повторенья не нужны.

1966

ЛЕТО 1961 ГОДА

По времени, по острию ножа,
По многолюдной, по широкой улице
Проходят люди, по делам спеша.
А время их покуда не порежет,
До нерва все никак не доберется:
Они идут, как в обуви, в надежде,
Что все благополучно обернется.
А все живет, на острие качается,
И мы друг другу отвечаем шуткой:
— Ну как, летим?
— Очередная утка.
А кстати, чем полет в ничто кончается?

1961

СТИХИ ОТ УСТАЛОСТИ

Помню, я пришел с занятий очень уставшим. Не было сил вставать из-за стола и что-нибудь начинать. Тут моя четырехлетняя дочка, взобравшись со стула на подоконник, стала поправлять криво растущий побег столетника (теперь столетник разросся в маленькие, колючие, перепутанные джунгли, а дочке тринадцать лет):

— Не расти так, а расти вот так, — говорила она, выпрямляя росток, который не слушался.

За окном на дворе мальчишки дразнили летящее вверх пламя большого костра, на котором сжигали осенние листья и ветви.

— Не трогайте огонь! — закричала моя девочка сквозь оконное стекло на четвертом этаже.

И тут я начал стихи ее фразой.

— Не расти так, а расти вот так! —
Поправила дочка росток рукой.
Ты, дорогой человек, — чудак.
Вот если б ты был другой...
А мальчишки жгут на дворе костер,
Мальчишки руки суют в огонь.
У дочки опыт самый простой,
Дочка кричит: «Не тронь!»
Мальчишки будут играть с огнем.
Росток все равно остается кривым,
Жизнь чудака под конец согнет,

Поведет по своим кривым,
Поведет по своим крутым
На подъем,
На подъем,
На подъем, —
Это если играть с огнем.
А если не играть с огнем —
Поведет по своим крутым
На спуск,
На спуск,
На спуск...
Чудака все равно согнет
Ее невесомый груз.
— Не вечно быть молодым,
И ты заживешь, как люди!
Ну, хорошо,
Пойдем,
Попробуем на подъем,
Поиграем еще с огнем, —
Может, светлее будет!

1961

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ НА БЕЛОМ КАМНЕ

Перевод на свой лад
стихотворения Сесара Вальехо

Здесь умру я,
В Париже,
Под дождь
В день, что будет на этот четверг,
Словно капля на каплю, похож.
В день, который уже вспоминаю.
Я сегодня так ясно его понимаю,
Потому что меня до костей пронимает
Одиночество,
Словно предсмертная дрожь,
Одиночество,
Где не уйдешь, а умрешь.
Да, таким он и будет, я знаю,
Тот четверг, когда умер Вальехо, поэт,
Обвинявшийся в том, что вины за ним нет.
Он сполна получил
Все, что нужно для казни:
Был простертым, нагим, и пинал его каждый.
А в свидетелях были:
Дожди, четверги,
В чемоданные ребра упершийся локоть,
Бездорожье
И снова — дороги, враги,
Все, что так одинаково
И одиноко.

1964

СМЕРТЬ ПОЭТА

Что это значит — «Даниил Заточник»?
— Сидит поэт.
Непризнанный пророк.
А браунинг, хорошенький зверек,
Лежит и на поэта зубки точит.
И черненький его, дурной глазок
Так пристально уставился в висок...
Все почему?
— Твердыня одиночества!
Но арестантам — всем! — на волю хочется...
Поэт снимает трубку телефона.
Шершавый шорох: напряженье фона.
И черненький, дурной глазок мембраны.
Он тускл, как все тюремные глазки.
Да, «суждено» — скорее значит «странно».
Что странного?
Срезают колоски,
Как бритвочки,
Срезают голоски, —
Приятный женский,
Бархатный мужской:
— Вы, гражданин-товарищ, не такой.
А у поэта третий день в кармане
Письмо о смерти. Занят черт-те чем:
Какими-то машинами, кормами
И пропагандой собственных поэм.
Глядел-глядел дурной глазок — и сглазил:
Еще один самоубийца — классик,
Еще один попробовал разок.

— За гривенник купите образок!
А где-нибудь
Под крышами Парижа,
А может быть,
В мансарде Ленинграда,
Какая разница — на первом этаже! —
Живет мальчишка.
Из своей засады
Дурной глазок прицелился уже.

.....

Поспорим, господин Дурной глазок,
Посмотрим, поживем еще разок!

1964

ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О БОЖЬЕМ ВЕЛИЧИИ

...А деревья умирают в городах,
А деревья друг на друга не похожи.
И про все не скажешь сразу:
Не получится никак.
А про каждое одно —
Себе дороже.
Я ведь тоже человек,
Я не сею и не жну,
И приносят мне мой хлеб
Из магазина.
Я люблю свое отечество,
Люблю свою жену,
Дочка есть. И не хватает только сына.
Ах, вы скажете, что это
Все пустяк! Такой пустяк!
Ах, вы скажете, что многое — важнее...
Вас историки за это
Обязательно простят.
Я с историками
Спорить не посмею.
Потому что в инженерню
Инженер идет свою,
В офицерню — офицер,
И мир в порядке.
А поэт...
Я не поэт.
Я пишу, я не пою,
Проверяю свои школьные тетрадки.

И когда случится чудо,
Состоится Страшный Суд,
И Христа внесут
На шелковой постели —
Он ослаб от сострадания,
И сперва к нему введут
Тех, кто просто, без причастья
Был расстрелян, —
Я скажу: «Спасибо, люди,
Что я жил и что дышал...»
Город окон.
Горы окон.
Целый ворох!
И на том спасибо людям.
А кому — я не сказал.
Это выяснится все не так уж скоро!
Если я себя повешу, а другого — погожу,
Буду я тогда простой самоубийца.
Но собою, как веревочкой,
Я всех людей свяжу:
Это очень на процессе пригодится.
Так и скажем, не развяжем:
«Он меня, а я — его,
Так что если вы Господь,
Решайте сами:
Или всех — или не надо,
Не судите никого,
Обойдитесь
остальными чудесами!»

РОЗАМУНДА

Ро-за-мунда —

Приятный

немецкий

фокстрот, —

ать-два!

Нет, не тундра,

а травка

в Дахау

цветет, —

ать-два!

А тундра будет,

дальше будет,

когда осудят

всех за плен...

— Что ж, товарищ майор, воевал ты

в Испании?

Ничего ты заранее сделать не мог!

Не стрелялся заранее, не сдавался заранее,

хорошо раньше времени кончили срок!

А тут, на воле, мальчики спокойные,

спокойные, поэтому — конвойные,

Такие молодые

и достойные того,

чтоб ни за что им не было и правда ничего!

У них свои проблемы.

У нас свои пробелы,

провалы в биографиях

в анкетах три строки...

— А что ты понял-видел?

А что ты будешь делать?

Ведь у тебя, как у меня,
глаза и две руки!
А мальчик начинает от нуля.
Ать-два!
На что ему два штабеля,
Две шпалы...
Гренада ты Гренада,
колымская земля,
ты для него родиться опоздала.
И снова получается,
что каждый — одинок.
Но люди, словно поезда,
друг друга не минуют...
Уходит поезд из Москвы
в Гренаду, на восток.
А кто-то в клеточку опять
историю линует...

* * *

Передо мной течет река,
А надо мной шумят березы...
Откуда только что берется,
Чтобы растаять в облака!
Берется сильною рукой,
Всей круглою небесной чашей,
Зачерпывается,
 и даже
Проглоченное темнотой,
Вдруг опрокинутое вниз,
Оттуда к свету, вверх всплывает.
И дерево не забывает
Растить особо каждый лист.

1968

ПАНОРАМА ЦВЕТНОЙ СУМЯТИЦЫ

Жил-был старик-ученый,
Скрипач, а не пророк.
Гриб атомный он вырастил —
И все не слава Богу:
Вдруг каждый стал наращивать
Свой атомный сморчок
На случай обороны на дорогу.
И в мире, утонувшем,
Как в инее, в молчанье,
Все равнодушно.
Все белым-бело.
Не греют нас мерцающие
Миросозерцанья,
Зато от водки на душе тепло!
А девочки-приветочки
Все ножками, как ножничками,
По тротуару — чирк!
Чирик-чирик! —
Ах, как благодарить-то мне вас,
Весточки, сомножители,
Сожительницы
Разных прощелыг!
Вы — пузырьки отрады
В пустынях бытия.
Движения у вас — такое чудо!
— Ну, что ты так уставился?
— Дай дольку!
— Вся твоя!

.....

— У, нарожала пасынков,
Паскуда!
Всем весело. Всем тесно.
Зарплата, кровь и пот.
А дальше неизвестно —
И не надо:
Одна кривая вывезет,
Другая подведет.
Короче —
Не ломитесь без доклада!
И это так пять тысяч зим
Или пять тысяч лет,
Играют свадьбу или трубят зорьку.
И если не считать того,
О чем в помине нет,
То все на свете,
Как на свадьбе:
— Горько!

1967

* * *

И что же получается, друзья?
И чем же все окончилось, товарищи?
А то и получается, что высказать нельзя:
слова не головешки.
А налицо пожарище.
Казалось, спичка чиркнула — и Господи
спаси!—
Огонь души, огонь страстей,
огонь желаний!
И вот сказали этому последнее прости.
Канва другая для переживаний.
Сперва мы море синее возьмем и быстро
вышьем.
Себя на нем. Над нами — паруса.
А все, что нам мешает,— мы за пределы
вышлем:
такая, значит, нынче полоса.
Ну что ж,— красуйтесь, липовые кущи!
Звени звончей, гитарная струна!
Еще возможно — хуже.
И выносимо — круче.
А значит жизнь
Недаром так длинна...

1968–69

* * *

Человеку нельзя операцию сделать.
Слишком поздно. Приходится рану зашить.
И уйдет он в ничто, словно в дверь,
Белый-белый, через полгода.
Больше ему не прожить.
А пока он живет и является следующим.
В темноту, в никуда, в глину мокрую
следующим.

Так он следует:
Быстро идет по проспекту,
И сегодня ему хорошо и легко.
Улыбается солнцу, и ветру, и веткам,
А такого проспекта
Не видит никто!
И конец.
И могильный захлопнулся камень.
Я хочу, чтоб остался,
Со мной не ушел,
Мир,
Увиденный только моими глазами.
Мир,
Услышанный только моею душой!
Я хочу, чтобы все
Рисовали, писали, лепили
И на каждой могиле
Поставили свой пантеон,
Чтобы зренье и слух человека

Туда положили
И усилием воли
Чтобы мир его
Был воскрешен!

1963

* * *

Посвящается Г. П.

России, не нам, а Имени,
Все — Имени, полной мерою...
А Черное море — синее.
А Белое море — серое.
И тут ничего не сделаешь,
Поскольку и делать нечего:
То — черное, это — белое,
Не нами с тобой расцвечено!
И чем-нибудь все закончится,
И снова, когда начнется,
Судьбой Данилы-заточника,
Как дудочкой, отзовется...

1969

ПОХВАЛА ЯМБУ МЕРОЙ АМФИБРАХИЯ

Старинные русские ямбы
Свободны, как выдох и вдох.
Позорно слагать дифирамбы,
Когда вольнолюбие — бог!

Пусть не было плана и цели,
А только прекрасный порыв,
Но ямбы его уцелели,
И бог вольнолюбия жив!

Пусть Вагнер из секции прозы,
Профессор линейных наук,
На том и построит прогнозы,
Что Ника — богиня без рук,

И стало быть волчьи заботы
Важней олимпийских забав,
Постройка надежней полета,
А сила приятнее прав,

И ямбы крошить для бетона
Потребовал времени ход.
Но случай сильнее закона,
И в этом свобода живет!

1969

* * *

...И вот, когда я думаю
о смерти и судьбе
и назначаю сам себе
отсрочки или сроки, —
кто в Третьем отделении
играет на трубе,
надув, как будто детский мяч,
малиновые щеки?
Что в Третьем отделении
ничто и тишина,
что кровь и мысли вытеснены
глиной и камнями,
что черепная кость в земле
черна и не слышна,
что прах и возвратился в прах, —
мы это знаем сами.
Но как цветок из ничего
вдруг вырастает свет,
мое лицо,
твое лицо,
и боль, и страсть, и сила...
И если умолчать о том,
чего в помине нет,
то разве стоит говорить
о том, что есть и было?
И генерал-трубач в земле
ведет свою игру
мелодией кромешной тьмы
или опавших листьев.

Расстанусь я с самим собой
потом, когда умру...
А вдруг какой-то тайный смысл
в бессмысленных убийствах?
И снова от строки к строке,
словно за шагом шаг,
иду, как будто ухожу
и прихожу к чему-то...
Что если Сталин получил
какой-то тайный знак,
когда он руку поднял вверх
в последнюю минуту?
Кому он вверх грозил рукой?
И немо, гневно звал...
Все физиолог объяснит,
все гитарист исполнит, —
но то, чем бредил человек,
что перед смертью знал,
мертвец не выдаст никому,
а человек не вспомнит.
И жизнь — как будто ясный свет,
глубокий, ровный вдох,
а боль — как волны темноты,
зияние измены...
Куда спешить?
Но как пройти
туда, где нет дорог,
сквозь неба, леса и полей
невидимые стены?
Но что-то в каждом и во мне
живет, не зная как, —
так неразумно, ни к чему,

как все живет на свете...
Как Атлантида, Колыма
погружена во мрак,
а над землей
весенний свет
и смерть, и снег, и ветер...

1970

ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ

Посвящается Александру Асаркану

...Не стану говорить о том,
когда приходит счастье,
И в чем оно? Кому оно?
За что на этот раз?
По мере слез,
по силе грез,
по вдохновенью страсти
воздастся вам,
воздастся нам
и каждому из нас.
Я рад, что все сейчас, как есть:
быть может, лучше будет.
Есть и любовь, и доброта
не только у людей:
судьба пытается дарить,
но очень часто судит
за то, что дар ее, как дань,
мы возвращаем ей.
И значит, если про любовь
или морскую пену,
или про солнца луч, когда
подтаяла с краев
листва в луче,
или про то, что стрункою запело
о бытии пока еще
неведомом своем, —
то здесь не взять и не отдать,
а жить и наслаждаться,

построить дом,
прославить храм
и знать, что все — как дым.
А если счастье, как на зло,
не будет узнаваться,
считать, что этот маскарад
был дан тобой самим.
Какая странная беда,
что незаконность чуда,
скольженье лунного луча
и силуэт сосны
приходят как дыхание к нам,
как песня — ниоткуда.
А мы за это — но кого? —
благодарить должны,
И если говорить о том,
когда приходит счастье,
то это будет все равно
ошибкой каждый раз.
По мере слез,
по силе грез,
по вдохновенью страсти
воздастся вам,
воздастся нам
и каждому из нас.

1970

НОВАЯ ВЕСНА

Нет, я не знаю, почему
опять весна настала.
И серый цвет,
и серый свет, —
устала вся земля...
Она оттаяла точь-в-точь,
словно с лица опала.
Бугры и впадины грубы.
И мертвенны поля.
Как будто бы во всем живет
стремленье к разрушенью
себя самих,
себя самих,
как вражьего гнезда,
И в этой воле умереть —
стремленье к разрешенью
того, что есть,
того, кто мы, —
всего и навсегда.
А впрочем, серый воробей
чирикает на крыше,
и продирают кожуру
зеленые ростки
не оттого, что видит Бог,
а человек не слышит,
а просто — как уходят вдаль
извилины реки...
И если существует свет и голубое небо,
А после этого нигде не будет ничего, —

То все загадочное в нас беспомощно и немо,
А все понятное — увы — всего лишь вещество.
И неизбежность для живых
страдания и смерти —
не Промысел, а произвол
расправы без суда...
А у березы каждый раз —
зелененькие серьги,
А у всего на свете есть
особая судьба.
И может быть, когда меня
нигде уже не будет,
А если что и было мной, —
то где оно сейчас? —
Веселых листьев золотой
или зеленый бубен
Расскажет что-нибудь еще
кому-нибудь про нас...

1970

СТИХИ О ПРОСВЕТЛЕННОМ БЛАЖЕНСТВЕ

Смертоносные ракеты
и неправые суды,
чистоплотная, здоровая нечестность,
а великие открытия —
во всем, кроме судьбы.
И от этого в итоге —
неизвестность.

А блаженный Августин
отвечал на это так:
— Душу я хочу познать,
себя и Бога.
— Только это?
— Только это.
— Но легко попасть впросак:
мрак и обморок —
и вся твоя дорога!

А блаженный Августин
мне отвечал, что он псалмы
читал

полям,
холмам,
деревьям,
веткам,
ветру,

и все, погибшие
от мира,
мора,
войн
или чумы
ему ответили
пространством,
пеньем,
светом!

И тут я понял, что ошибка —
не надежда и тоска,
не страстей зловещих топкие дорожки,
а стремленье жить, как птичка
пьет с кленового листка
росу по капельке,
как будто бы с ладошки.

До свиданья, о Блаженный!
И прости меня, прости,
что высокую науку созерцанья
я не принял, ибо я,
нищий духом,
не постиг
ни смысла в бедствиях,
ни радости в страданиях.

1970–71

ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ

Есть один талант: стремление
понимать.

И удивление.

Очень трудно удивиться
освенцимовским печам.

Много проще удавиться,
чем осведомиться там,
как же так могло случиться.

Но ни технике, ни сексу,
ни семантике, ни боксу,
ни условному рефлексу
человека на часах
дела нет, что кто-то свыкся,
а потом и этот спекся.

И куда уж тут с легендой
о небесных чудесах!

Но упрямое уменье
умников и дураков,
их восторженное рвенье
из деревьев делать вещи,
не заметив самый лес,
ненавижу я за то, что
от тоски бывает тошно.

Я за ваши уравниенья
внес квартплату — и исчез!

Я прилягу на полянке
и подумаю: живу!
Бродят по лесу подранки
и жуют разрыв-траву.
А ее питает корни
та подземная вода,
что была слепой и черной,
не блестевшей никогда!

По логическому сыску
монолог мой — чистый бред.
Объяснительного смысла
и в последней строчке нет.

1970–71

ЧЕРНЫЕ СЛОБОДЫ

За упокой в церквах звонили.
Гадали в городе — по ком?
Бояре шепотом твердили,
Что царь-де скорбен стал умом.
Они искали смерть отсрочить,
Чем Бог пошлет, от дня ко дню.
И доставались среди ночи
На лобном месте — воронью.
И царь,
Один над всей державой,
Был словно идол золотой.
Над ним парил орел двуглавый,
Змея шипела под ногой...
А в черных слободах ковали,
Трепали лен, варили мед,
Пенькой и квасом торговали,
Ходили за море в поход,
И в Черных слободах не ждали
Ни лучшей доли, ни петли:
Невест на осень выбирали,
Да баб от порчи берегли.
И только где-то поп безместный —
Ничей, лядаший человек —
Кричал, что грянет гром небесный,
Что Иродов
Прервется век...
Но век был долгим и суровым.
И тщетно поп кричал с тоской
О милосердии Христовом
Перед раскрашенной доской...

А осень
золотила густо
Весь город — из конца в конец...
...Солили в слободах капусту,
И шли невесты под венец.

1957

Московиты,
чья гордость не знает границ,
пред царем, как пред Господом,
падают ниц...
О, московская спесь и московская грязь!
Он ушел,
только в пояс
царю поклонясь.

1957

ПРОГУЛКА В СУЗДАЛЬСКОМ ПОКРОВСКОМ МОНАСТЫРЕ ВО ВРЕМЯ КИНОСЪЕМОК

А когда бежала Каменка-река —
мимо Суздаля, узка да глубока,
а когда по ней ходили корабли,
как по речке по соседней по Нерли.
И выстругивал мальчишка-пастушок —
думал — палочку,
а вышло — посошок...
Это правда, хоть и было

все давно,

Впрочем, что это?

Двенадцатый год,

едут черные гусары

в поход.

Крутят мальчишки

цветное кино...

— Слушай дальше: для бездетной жены
князь построил здесь

четыре стены.

В этом храме черный пол, белый свод,
в усыпальницу к монахиням вход.

Кто противился царю

под каблук —

тех в монашенки сюда,

под клобук,

Все их тайны монастырь

Покрова

белым камнем,
как крылом,
 покрывал.
Если сверху на него
 посмотреть,
весь он белый,
словно снег или смерть.

Подойти к нему
 дорогой другой —
строг и грустен он,
 как буква «Покой»...

А гусары возвращаются опять,
дальше крутится двенадцатый год,
их помещики выходят встречать,
и мещаночки стоят у ворот...

И построил, значит,
 царь-государь
для киношников
 волшебный фонарь,
И зажег в нем,
 будто свет,
 белый цвет,
В память тех, кого нигде
 больше нет...
— Сколько времени?
 — Без четверти три.
— Разрешите?
 — На, корнет, прикури!

СУЗДАЛЬСКИЙ СПАСО-ЕФИМЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В старинном Суздале,
как будто в хрустале,
крамолу берегли
в стенах граненых башен.
Закрыли при царе
тюрьму в монастыре.
Открыли вновь ее отцы
эпохи нашей.
Тут изолятор был. Полит.
Особый.
Для отрицательных,
но крупных величин.
Гуляли заточенные особы
весь день по садику,
вникая в суть причин.
Все, верно, думали,
в каких они клещах!
Был грозный царь. Теперь —
великий Сталин.
Они, небось, как странники в мощах,
в цитатах
облегчения искали...
Кругом лежала сельская Россия,
ее поля, холмы и купола
отсвечивали золотом
красиво,
покуда позолота не сошла.

И пахари — теперь уже колхозники —
не в лапотках, а в кожаных ботинках,
после собрания
прослушивали Козина
на привезенных
избачом пластинках.
И повестей совсем не зная
прежних,
сидел в президиуме,
сердцем чист,
приезжий — не опричник,
не кромешник,
а год спустя
расстрелянный
чекист...

Но не нарушу
сельскую идиллию!
Пускай Бастилия
разрушена была —
ты, суздальская, сельская
Бастилия
с окраской белорозовой
цела!

Ты коронована была
такими башнями,
А стены так поставлены
на холм,
что грозный дух вчерашнего,
всегдашнего,
как молния
навек в тебя вошел!

...Но купола над башнями

плывут

газоны, лозунги

и клумбы представляя:

колония здесь нынче трудовая,

и только девочек

воспитывают тут.

В земле особы.

Сгнуло ОСО.

И сторожей, конечно, тех

не стало.

Все вниз,

истории пошло под колесо

чтобы оно

не буксовало...

Но словно что-то вспомнить я хотел...

Задело слово «Суздаль»,

как заноза...

Да...

Было мне лет шесть,

и здесь отец сидел.

Как Меньшиков, потом

он сослан был

в Березов...

1964

СТОЛЕТИЕ ВЛЮБЛЕННЫХ

Я вырвался живым из мясорубки,
которая выбрасывала в яму
кровавые и смутные обрубки
людей.

Любых: уступчивых, упрямых,
кого угодно

и за что угодно,

все было перемалывать удобно!

Я вырвался живым из мясорубки,
а как ее колеса закрутились!

Сначала мягкие, на черных шинах,
они меня швырнули, оглушили —
и я один за сотнями дверей.

Я очутился в тесной одиночке.

И даже если я рожден в сорочке, —
сорочка не спасает от когтей.

Она не защищает от колес.

Словно зубцы,

мерцающие лица.

Им надо за живое зацепиться.

И тянется, скрипя,

ночной допрос.

Потом колеса вороненой стали
построились попарно и помчали
куда-то вдаль.

И лежа вверх лицом

я видел:

по закону соответствий
кружились надо мной годами бедствий
круги созвездий, как над мертвецом...

Но вот вершины круглые деревьев
мой взгляд наматывают, словно нить.
Ах, если бы они могли теперь вот
меня наверх поднять, освободить!
И я, как висельник, на этом взгляде
между землей и небом повисал,
а конвоиры спереди и сзади
не замечали, как я воскресал...
И вдруг зубчаток совместился вырез,
и я, хоть и ободранный, но вылез.
Так вырваться из этой мясорубки!
И мундштучок мой
наподобье трубки,
несу стихи я
наподобье ранца,
все кажется теперь
в новинку мне,
и странником,
почти что иностранцем,
себе кажусь я
в собственной стране.
Вот собирают женщины колосья —
и ничего не знают про колеса,
вот медленно слесарят слесаря,
заготавливают для машины винтики...
А завтра
будет новая заря,
а мы с тобой
такой еще не видели,
а мы с тобой, любимая моя,
живем в своей орбите бытия:
Гуляют дети. И растут цветы.

Что может быть понятнее и проще,
чем наше ощущение святынь, —
тебя, меня, голубизны и рощи?
А девочке всего лишь девять лет,
а камню — девяносто миллионов, —
и это слитно,
как свеча и свет...
Да здравствует
столетие влюбленных!

1966

СОБОР И МАСТЕР

Человечек, —
словно семечко лежит у валуна,
сутулый, маленький
стоит перед собором.
А камни высятся, стремятся,
нарастают, как волна,
он перед ним стоит,
как сам перед собою.

Стоит и думает:
«Неужто это — я? Но как я мог?
Я драл с подрядчиков три шкуры,
низко кланялся вельможам,
а собор не так построен:
он свободен и высок.
Одного из нас — его или меня —
но быть не может!»
Что же делать человеку,
Что же делать, если он
себе не верит
и себя не уважает,
а собор уже стоит,
как поступок — совершен,
и его совсем другим
изображает?
И уходит человек,
как пес, побитый ни за что.
Пьет, гуляет,
и невесело смеется:
потому что если все
просто так произошло,

то не все равно,
откуда что берется?
А собор молчит, как будто
утверждает: «Я стою,
а ваши кудри поседели-поредели.
И кончайте жизнь разглядывать,
разгадывать свою, —
начинайте, мастер,
строить в понедельник!»

1968

* * *

Надо жить, не опомнившись.
Опомниться и оглянуться —
Значит вдруг постареть.
До могилы почти дотянуться.
Лучше просто в полет:
От минуты — к минуте. Не зная,
Что куда приведет.
Где одна западня,
Где другая.
Потому что когда
Опустеет тяжелое тело, —
Ни земля, ни вода
И уже ни пути, ни предела —
То не все ли равно?..
Я не знаю, зачем и откуда.
Если это дано —
Остаются надежда и чудо.

1969

МЕДИТАЦИЯ О ТОБОЛЬСКОМ
СОБОРЕ ДЛЯ РАСКУЛАЧЕННЫХ
ИЛИ ВОЛЧЬЯ ПРАВДА

На сибирском просторе
кругом
зима.

А в Тобольском соборе
святом
тюрьма.

Нары в пять этажей

до архангельских

крыл...

Почему Ты, Боже,
Себя забыл,
и Твоя же плоть
на Твою же плоть
восстает
и губит Тебя, Господь?
Или Ты поделился,

как я, на всех —

и на доброе, и на грех,
так что радость моя
и горе мое,
и любовь, и боль,

и мечты —

это образ Твой,
подобье Твое,
я враждую с собой,

как Ты?

А вокруг собора
мужик-тоболяк

ходит-бродит
с ружьем в руках.
Надоело ему царей в соболях
выносить на своих боках...
Всюду сосны, как белые свечи,
молчат.

Все покрыто светом
и льдом.

И волчиха греет
в тайге волчат,
и охранник вернется в дом,
и останется теплым
нательный крест,
пока есть живое тепло,
и белеет собор надо всем окрест,
словно ангельское
крыло.

...А потом тайга, и конвой опять,
и не спрашивай, что к чему!

.....

Не умеет волчиха
волчат считать.
Знает каждого
по одному.

Декабрь 1969

* * *

Посвящается В. Г.

Прошлое — это не я и не ты.
Прошлое — это и будет, и было,
прошлое к нам дотянуло кресты,
словно цветы
на солдатских могилах.

Будущего — ни на миг и нигде:
там пустота и отвесность обрыва
и человек на последней черте.
Может быть, снова окажемся живы?

И, подарив нам опору и свет,
прошлое
так из-под ног уплывает,
что получается
шаг и ответ:
будущего
никогда не бывает.

Или оно как сочувствие есть
тем,
кого мы забываем и любим,
дар,
приношение исчезнувшим людям,
памяти нашей
сила и честь.

Апрель 1970

ТРИПТИХ О МОСКВЕ

1

Хожу-брожу по улицам мещанским...
Ах, сколько же тут было разнесчастных,
Веселых, раздобревших, сердобольных,
Завороженных, гибких, подневольных!
И все они в своих домах суконных,
Словами вроде сковород кухонных,
Телами лебедиными богинь
Творили узких улочек изгибчики,
Гармонию гармоники-двухрядки,
И палисадники, и семечки, и ситчики,
На платьях роз разгоряченных грядки...
Черемухой настояно пространство,
Геранью опечатано окно...
Еще глоток
Такого постоянства, —
И выберу я
Что-нибудь одно!

1961

2

Серпуховские казармы

Вот здесь когда-то жили
офицеры-господа,
и жены их ходили,
в платьях длинных, до земли.
И дочка капитанская

читала про себя,
как пугачевцы Машеньку
чуть-чуть не замели.
Отец ее, штабс-капитан
с несчастною судьбою,
цыганские романсы
дамам пел на пикниках.

А кто его?
Когда его?
Ах, небо голубое
молчит и про бои в Карпатах,
и про ВЧК.

А Маша-капитаночка
с тех пор лишь тенью стала.
Невидимо, неслышимо
она стоит сейчас
у пыльного штабного
высокого портала —
ее, как тень своих колонн,
он дотянул до нас.

А если вы не видите,
а если вы не знаете
и вам плевать на Машеньку,
была иль не была, —
то, значит, вы своим
вполне
полезным делом заняты,
а смерть глядится
в ваши лица,
словно в зеркала!

1966

3

Люди московские —
люди таковские:
не святые —
такие-сякие...
Где Триумфальная —
там Маяковская.
Разве Москва —
не Россия?

Люди московские
в крестики вышили
низкое небо когда-то...
Люди московские
вымерли-выжили,
и пол-Москвы
из Кронштадта!

В небо на штурм!
Не жалели — не верили,
только огня надавали...
Вот и остались те дворики-скверики,
те купола над домами...

Если когда-нибудь,
где-нибудь,
кто-нибудь
скажет: «Ошибка!» — не верю.
Тучи плывут, словно по морю, по небу —
и наплевать мне
на берег!

8 марта 1966

* * *

Все в двадцатом веке
Смутно и темно.
Все в двадцатом веке
Ясно или пресно,
Потому что если
Что-нибудь дано,
То оно при этом
Тоже неизвестно.
И какая разница —
Словно корабли
Уплывают листья
В глубину лесную,
Или же художники, словно короли,
Золотую осень, как хотят, рисуют?
Все равно на свадьбе,
Все равно в тюрьме,
Все равно на свете,
Словно на охоте,
Все усилий просит,
Как чертеж вчерне,
А в конечном счете
Чудом происходит...

1969

ДОМ БАТЮШКОВА

Вот в этом самом доме с башенками
Полузабытый и ненужный
Поэт голубоглазый Батюшков,
Как говорят, умом недужный,
Ходил со свечкою по комнатам:
Искал врага, искал убийцу...
А тени, смутные, огромные,
Не уставали шевелиться.
А колокол гудел ко всеобщей:
Сегодня день Страстей Господних.
Вино и песни ради праздника,
Ножи и драки ради праздника,
Сегодня праздник
нашей немощи.

Кого-нибудь
убьют сегодня!
И вот лежит, — слепое, белое,
Не человек, одетый в чуйку,
А то, что с человеком сделали...
И крови замирает струйка.
Убьют зазря. Убьют заслуженно.
За грош, за грех или из мести...
Друг другу,
каждому
ненужные, —
Кому они нужны
все вместе?
А колокол
гудит по Господу,

А человек
 спасенья ищет,
Шумят березы
 над погостами...
Пусть колокол
 гудит по Господу!
По ком
 ножи за голенищем?

1959

* * *

Сосны в солнце и песке,
море — под сурдинку...
Вся земля промыта светом до корней,
до кристаллика песка,
до иглинки,
до травинки, —
до всего, что есть отдельного на ней.
И мгновенной,
переливчатой струйкой
добежав почти до краешка воды,
сразу ящерица
вытянулась стрункой,
одолев сырые
впадины — следы.

Я не верю,
что когда-нибудь и кто-нибудь
Божий дар, такую истину найдет, —
листья по ветру,
над ними тучи по небу, —
все на меру, на число
переведет!

Потому что безнадежный, темный, атомный,
ищет разум безотказные пути, —
но зачем же мне
границы вероятного,
если можно их, как вещь, изобрести?
И как будто
подтвердив и то же самое,
и что сходство мимолетное —
смешно,

словно люди — великаны,
смотрит за море
допотопное чудовище
с вершок...

1968

ДВА ГОЛОСА

— Плыви, доверясь Аквилону,
А если зашумит Борей,
То пусть легко и окрыленно
Летит ладья к судьбе своей!
— Но в бездне мертвой, черной, дымной,
В осклизлых, спутанных снастях
Не будет ни надежды дивной,
Ни вести о моих страстях,
Где и победы, и паденья,
Где было все, чем жизнь жива,
Рассеются мои виденья
И промолчат мои слова.
— А ты доверься Аквилону,
А если зашумит Борей,
Пускай легко и окрыленно
Летит ладья к судьбе своей!
Надежда все твоё отнимет.
И все своё земля возьмет.
Но искру Божью прах — отринет,
А вихрь нездешний — вознесет.

1972

* * *

Посвящается профессору С. Я. Долецкому

Летела желтая листва
Растаять и расплыться,
ложились листья
плавно и легко.
Весь парк светился как янтарь.
Вот — церковь.
Вот — больница.
До смерти было близко.
До Бога далеко.
А девочка лежала
бессильно, как во сне,
и ничего глаза не выражали.
В глазницах, как в озерах,
они на самом дне,
недвижные и светлые, лежали.
И словно не глядели,
А все, не глядя, знали.
Глаза такие были
на ликах у святых,
жила в них безучастность
прозрачной зимней дали,
и было безнадежно
и холодно от них.
А листья падали, кружась,
и не случалось чуда...

Один лишь зодчий сам не знал,
а дотянуться смог, —
и длилась церковь сквозь века —
оттуда и досюда.
Напротив был пригорок,
где погреб или морг.
А в сером корпусе все шло
по правилам науки.
Там голубь — дух томился
и рвался в облака.
Его ловили за крыло,
его манили в руки,
и вроде он давался, не улетал пока.
И важно было угадать,
какую сеть расставить,
чтоб он опять не захотел
порхнуть туда, к себе,
а согласился подождать
и крылышки расправить
в улыбку девочки, а там
во всей ее судьбе...
И девочка моя сидит,
читает Вальтер Скотта,
и, верно, думает вы:
«Романтик и чудак,
не знает до чего дошла
научная работа,
приплел и Бога и листву,
а было все не так...»

Я понимаю, Вы — не Бог,
но не итог прогресса
и церковь, и больничный сад,
и облака вдали.

А вездесущий Голубь-Дух
отчасти и профессор...

.....

Я счастлив Вас благодарить,
что дочку Вы спасли.

29 –30 октября 1968

ТУТАЕВСКОЕ ЧУДО

В двадцать лет
я не сидел бы за решеткой,
краснофлотского
не знал бы матерка, —
я писал бы,
что сухи, как звук трещотки,
летом крылья
у шального мотылька,
и что весь в сквозных промоинах апрель,
и что камень точит вешняя капель,
а высокая, седая синева
так возвышенна,
что в сущности права...
Но река течет
близ города Тутаева,
пять церквей в том городке
и три пивных.
Чем грехи свои от Господа утаивать,
лучше выпить по пол-литра на троих!
Всю их жизнь я пережил и перевызубрил,
все зазубрины, узоры на пути,
как она давным-давно
и словно сызнава
беззащитно и беспамятно летит...
—Человек, ты кто по имени-по отчеству?
от какой такой войны твои кресты?
Если каждый
одинок от одиночества,
почему мы все —
как листья у листвы?

А река течет
 близ города Тутаева,
и куда она впадает —
 все равно...
Может, прямо в облаках она растаяла,
может, море — как
 открытое окно...

1966

* * *

Ах, как мало меняются люди!
Сколько сроков, событий и судеб
расплеталось,
сплеталось узлами,
а студентик нетронутый,
важный,
жил в стеклянной
невидимой башне,
и его вместе с башней услали.
Ах, что видел он —
вам бы не видеть!
Ах, где побыл он —
вам бы не быть!
Написали:
два валенка
выдать,
а столичную жизнь позабыть.
Но студенту повезло,
жил он в башне своей,
как положено.
Лесоруба узнал ремесло
и нашел человека хорошего.
Вы их видели?
Вы их не видели:
пайку хлеба — не лишнюю —
выдали,
справку сделали. В госпиталь
сунули.
Эх, сибирские ветры, сибирские ветры!

Сибирские ветры с земли
как песчинку бушлатника сдунули б,
если б люди

не помогли.

Благодетели были

несладкими,

добродетелями

не блистали,

благодетели были

бушлатниками

и работы полегче искали,

благодетели били в зубы

несговорчивых доходяг,

потому что лишнего супа

дорогие дружки хотят.

И студентик, глотая лихо,

жил за ними

трудно и тихо.

Ах, что видел он, вам бы увидеть,

ах, где побыл он, —

вам бы побыть!

Написали:

справочку выдать

а колымскую жизнь позабыть.

И вернулся домой студентик

в знаменитой башне своей,

и пошел, пошел по ступенькам

вверх по лесенке,

все быстрее...

И мужчина неглупый и важный,
через несколько лет уже,
жил он в той же прозрачной башне,
но на
 следующем этаже...

1964

* * *

Все в мире

переливчато и хрупко.

Все планы

не годятся никуда...

Тут не корабль, а шлюпка,

как мертвая голубка,

а все кругом — бездонная вода!

Волна ударит слева — мы направо.

Волна ударит справа — мы налево;

в борта, как будто в скулы, —

вправо, влево — и опять:

надежды, планы, где вы?

Ни ждать, ни выбирать...

Судьба — не проявление направленья,

скорей осуществленья суеты.

Она, как бочка Данаид, не терпит наполненья

и все-таки боится пустоты.

И потому мне важно знать,

что надо, что не надо,

что в общем так, а что не так

выходит на земле.

В конечном счете,

ход времен — всего лишь дело взгляда:

считай хоть от весны к весне,

хоть от зимы к зиме...

1968

* * *

Я все равно скажу вам немо,
Когда умру я и растаю,
Скажу водой, листвою и небом,
Словами книг, и всем, что знаю,
Опять скажу, что мир прекрасен,
И все равно — пришла свобода!
И эти листья не приказом,
А своеволием шумят,
И этих гор не поднял разум,
А звезд едва коснулся взгляд!
Но если горечь и работа
И даже самый трудный путь
Не отдают тебе отчета,
И не дают тебе свернуть, —
То все равно, ты был иль не был,
И все равно, когда и где,
Тут не слова: листва и небо,
Цветные тени
На воде...

Апрель 1970

* * *

Никто нигде не ждет стихов,
А ждут давно —
С тех войн, с тех пор
То голубей, то самолетов,
Военного приказа ждут,
Друзей, которые идут
И не приходят отчего-то...

Но есть на свете ты и я,
И плен, и прелесть бытия,—
Откуда это, я не знаю.
Но далеко не так проста
Ладонь кленового листа
И вся его судьба лесная.

И может быть, не в том ответ,
Что искру Божью прах отверг
Как бесполезную для дела,
А в том, что все-таки она,
Хотя отпором взметена,
Но от земли не отлетела!

1972

ПУТЕВАЯ ЗАРИСОВКА

А что там было?

Грязь и тьма.

Простор. Тщедушные деревья.

Как у кочевников — кочевья,

Так у насельников — дома.

Повсюду лужи. Хода нет.

Мальчишки там плоты гоняли.

Цвет ветоши, мышиный цвет,

Как будто полусвет в подвале,

Господствовал везде. Забор,

Стена бревенчатого дома —

Все было серым, словно сор,

Косым и ломким, как солома.

А рядом был большой завод.

Он хрипло звался «Запсибмашем».

Дышал он прямо в небосвод

И в небе будущее наше

Клубами дыма начертал.

И было никуда не деться.

И только эта нищета

Тоской прихватывала сердце,

И только эта сволота,

Глаза за пьяной поволокой, —

Была моей судьбой жестокой

И смыслом моего креста.

1973

* * *

Ах, стать бы мне китайцем,
Сшить синие штаны,
Со всеми объясняться
«Сю-сю» или «хны-хны», —
И стать совсем таким же,
Как и любой другой
Под Китежем, на Ижме
И над Москвой-рекой!
А то ведь нет покоя.
Пора глухой тоски.
Тревога без отбоя.
Сжимаются тиски.
Сдвигаются, сжимаются, —
Кто выскользнет из них,
Летит и ушибается
О камни стран чужих.
А мы проводим времечко,
Имеем интерес
Весь вечер лускать семечки
Про обыск и арест.
И все давно рассказано,
И ясно — что куда,
А петля не развязана.
И новая беда.
А друг-китаец сетует,
Советует, жует.
Про все перебеседует
И всех переживет.

Дай, Боже, сил не сделаться
Китайцем средних лет
И помоги надеяться,
Пока надежды нет!

1972

* * *

И все равно ни на одно мгновенье
Нельзя забыть, что горы и моря
Создания такого вдохновенья,
Что перед ним трепещет плоть моя.
И не поймет она и не услышит,
Стремясь спастись от боли и беды,
Того, что в ней сердцебиеньем дышит,
Похожим на мерцание звезды...

1972

* * *

Хочет Даниил-Заточник,
Чтобы стали дни короче,
Чтобы день прошел скорей
От решеток до дверей...
Почему же я тоскую,
Умышляю наперед,
Словно день прошел впустую,
А ведь он еще идет!
День, приговоренный к казни,
Оцененный ни во что,
Отчего же он не праздник,
Где в нем солнце не взошло?
Вон оно, проходит мимо,
Солнце лета моего.
Ветви сосен черным нимбом
Сомкнуты вокруг него.
А кругом морской, небесный,
Луговой, лесной простор.
Меж собою им не тесно
С тех времен и до сих пор.
Отчего же эта жажда
Видеть завтра поскорей,
Словно день отмерен каждый
От решетки до дверей?

1971

* * *

Вот вам — «быть иль не быть»,
Вот отравя:
Соблазн и отрада!
Потому что «любить» —
Это хуже, чем смерть из засады:
Сквозь тебя проросло,
Просквозило, связало, скрутило...
Где добро и где зло?
Где ты сам? Где надежда и сила?
Все в любимом, в другом,
В дорогом и единственном, в этом —
Все вовне, только в нем,
Мрак повсюду без этого света...
Вот китайская казнь!
Как бамбук прорастает сквозь тело.
И не рвись, не проказы:
Все равно ты пронзен и приделан.
Кто же я? Я один?
Раб? Кусок чьей-то жизни и плоти?
Я готов, Господин.
Но уж если я раб,
То Господен!

1973

ПЕТЕРБУРГ

Город стоит на высоких шпилях,
Весь на колоннах — таких прямых,
Как будто люди не сами жили,
А сторожами были при них.
Я говорю о высоком чуде,
О странном чуде, когда опять
Было как было, и будь что будет,
И хочется все это повторять...
Как карусели, кружат колонны
И наплывают, как корабли,
Словно из сказки: кому короны,
Кому скитанья и край земли...

1971

* * *

Россия, родина, загадка,
Она вериги и венец.
И тут не горько и не сладко,
А тут начало и конец...

1969

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ДВАДЦАТОМ ГОДУ

А чем я лучше тех,
Кто пал в Овидиополе,
Кого тогда ухлопали,
Убили, утоптали?
И у кого спросить?
У поля и у тополя?
У пьяных писарей
В военном трибунале?
Все кончено давно —
И красные, и белые,
И петроградских беженок
Растаяли тела.
Черным-черно,
Белым-бело,
И ничего не сделаешь!
Молебен отслужили,
И конница ушла...
О Господи, прости!
Россия, боль, тоска моя,
Ты каждый день живешь,
Тоскуешь, пьешь, поешь, —
Так неужели ты —
Проклятая, та самая,
Что собственных детей —
За горло и под нож?
И это — как ожог.
И с этим мне не справиться.
Для этой вечной памяти
Нет вечного огня.

А тот, кто хочет жить,
Чтобы потом состариться, —
Пусть будет прав и счастлив.
Но только без меня.

1972

ЭМИГРАНТ

Я-то думал: эмигрант —
Одиночество такое,
Твердое, как адамант,
И чего-нибудь да стоит
Байроновский плащ и взгляд!
Эмигрант — исконный гранд.
Пусть он нищ и неприкаян,
Но живет в нем честь гвардейца,
Он — как драгоценный камень,
Не желающий владельца!
Но недавно довелось мне
Видеть это в старике.
Убедившись в благородстве
Белой кости,
Я заметил: он обкатан,
Словно камушек в реке —
И ни байроновской гордости,
Ни злости!
Был он сдержан и любезен.
Так сдающийся внаем
Дом
Открыт чужим несчастьям и успехам.
Все же грани эмигранта
Под конец сверкнули в нем:
— Уезжаю, как и в двадцать лет уехал.
Я хотел его спросить...
А он ответил на вопрос:
— Часто встреча продолжает расставанье.
Я хотел ему сказать...

Он на это произнес:
— Мне пора. Спокойной ночи. До свиданья.
Унесла его машина
Прочь, в гостиницу «Россия»,
А другая уведет за облака
И, как бабочка-капустница,
Куда-нибудь опустится...
Пошлю ему привет издалека!

1972

САТИРА НА НАШИХ МЕЩАН

Профессор или слесарь,
Писатель или врач,
Без веса или с весом,
А все равно хоть плачь!
То небо штурмовали,
То падали на дно,
То шумно выбирали
Из одного — одно...
Пережигали в уголь.
Сгноили. Упекли.
Искали пятый угол.
Под корень извели...
Морочило, мололо,
Выламывало так,
Словно на Русь монгола
Навел заклятый враг!
А между прочим сами
Крутили колесо:
Калечили-кромсали,
Чтоб только пронесло!
Но все теперь иначе:
Кто накопил — купил.
Как много это значит
Среди родных могил!
Как много в этом слове:
«Купить», а не «отнять»!
— Товарищ, сколько стоит?
— Давай, товарищ, пять!

На этом и увязнут
Истории клыки:
Все мелкобуржуазны
И все — большевики.

1971–72

* * *

Надо мной проплывают
Кремлевские звезды во мгле.
Двух России не бывает.
Россия одна на земле.
Что мне «любит» — «не любит»!
«Сойдешь поневоле с ума»...
Не откликнутся люди.
Не вспомнит имен Колыма.
Вам не нравится это?
Помягче бы да помилей?
Да побольше поэтов,
Поменьше бы концлагерей?
Что ж, и мне не по сердцу
На луну волком выть,
Водку пить, —
Но такое наследство
Кому я могу уступить?
Там, на русской равнине,
Без суда мой отец был казнен.
Говорят, уронили
В грязь Россию такие, как он, —
Коммунисты-чекисты,
Безбожники-большевики...
А мне слышится выстрел,
Когда их кончали стрелки,
Их надежду на чудо,
На братский союз трудовой, —
Все кончали Иуды,
И в штольню да вниз головой...

Ах, вы скажете, это —
Возмездье за горе и смерть...
А кому — за ракеты?
За то, что не светоч, а смерч?
И никто не воскреснет.
И песен никто не споет...
Вся Россия возмездьем
Сама над собою встает.

1978

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В КОНЦЛАГЕРЕ

А лагерники слушали Бетховена,
А лагерники Баха тоже слушали,
Еще когда обрывков от морковинок
Из банок из помоечных не кушали,
Еще когда профессорами были,
Еще когда очки свои носили
Не на веревочках — на дужках золотых
И ничего не знали о блатных.

Хоралы, как готические залы,
Просторные и светлые хоралы,
Зачем ты их построил, человек,
Зачем их вывел босиком на снег?

И вот стоят артисты и поэты
В своих хоралах светлых и стихах,
Как в балахоны смертные одеты,
Как в рубища из света и стекла.
Ни от чего они не защитили,
А только в лагерь смертный затащили,
Где смерть не благородна и тиха,
Не как в учебниках благообразна,
А как у мучеников безобразна.
Она — как судороги червяка...
А там, на воле, кушатели вежливые, —
У них и челюсти-то как у насекомых! —
Сидят и слушают. Пока еще не вешатели:
У них — пока — повесили знакомых.

И я хочу писать стихи во благо.
Солдатом и судьей хочу я быть.
Я не хочу, чтобы сиротка плакал,
Но я его отца хочу убить.
О музыка! Меня соедини
Скрипичным взлетом, по кривой звучанья
Веди к тому мгновению молчанья,
Когда у гроба мы совсем одни,
Стоим одни.
И каждый замолчал,
Как может замолчать ручья журчанье.
А мертвый лик желтел и излучал
Безмерное, бездонное молчанье.
Я всю кожу впитывал его,
Огромного молчанья облученье...
О, это обнаженное мгновенье!
Как будто завершение всего...
В нем сходятся, как в заостренье шпиля,
Года и горы, города в дыму —
Все то, что мы могли, все то, чем были...
О музыка, веди меня к нему,
Дай мне его вдохнуть и замереть...

1967–71

БОГ И ДЬЯВОЛ

Был дьявол памятником бронзовым.
Высок и прочен пьедестал.
А Бог какой-то травкой бросовой
В соседней луже произрастал.
А дьявол был кормюю сломанной,
Он закружил водоворот.
А Бог был малою соломиной
И верой, что она спасет.
А дьявол был простертой дланью:
— Живи! И действовать спеши!
А Бог — сомненьем,
Колебаньем,
Землетрясением души.

1970–78

НОВОГОДНИЙ СОНЕТ

Посвящается Ире Кристи

Все окончится этим же самым
Неделимым сегодняшним днем,
Но мешает нам помнить о нем
То, что тюрьмы, и цирки, и храмы,
И оконные зимние рамы, —
Все, что видим и в руки берем,
Было прежде и будет потом.
И разумно, устало, упрямо
Мы считаем вперед и назад,
Существуя вне чисел и дат
В неподвижном, всегдашнем мгновенье,
Что все время течет без движенья
Ниоткуда, сквозь нас, в никуда —
Словно в сказках живая вода.

1973

СТИХИ ДОЧЕРИ

Жизнь — словно легкая снежинка,
Мы с губ ее спешим слизнуть,
И снова вдаль, и дальше в путь...
Но вдруг снежинка — как слезинка:
Мы так мечтали! Так любили!
Но все давно про нас забыли.
А ты про это не забудь!
Что достается человеку?
Что остается от него?
Вторая половина века
Обрушилась на одного
Лавиной снегопадов зимних,
Весенних гроз, осенних ливней,
Тревог, и радостей, и бед, —
И наше время так похоже
На то, где тосковал поэт,
Что он до лучшего не дожил,
До наших дней не дотянул,
В земле, как в Лете, утонул...
Увы, всегда бывает так.
Но есть прекрасное «однажды».
Оно — как капля на губах,
Как дождь, спасающий от жажды.
Однажды — дятел на сосне.
Однажды — чайка над волнами.
Однажды — каждый сон во сне
И все, что происходит с нами.
Хотя однажды — как назло! —
Поэту так не повезло...

Зато при жизни с ним случилось
Такое, что ни с кем, нигде...
То муза на чердак стучалась,
То просыпался на звезде...
И как связующая нить,
От человека остается
То, что ни в ком не узнается,
Чего уже не может быть...

1973

* * *

Обстругивая строчки,
Как ножичком,
Отчаяньем,
Легко порезать пальцы:
Ведь не видать ни зги!
Одни друзья в отсидке,
Другие — вдаль отчалили,
Спокойные примерились,
А прочие — враги.
И я хожу гуляю
По русским Пропилеям,
Киваю вольнодумцам
Былым издавека.
Хоть петлю, кажется, и мне
Накинули не шею,
Но сверху за веревку
Не дернули пока!
Не знаю, сколько протяну
На этих проволочках.
Но поднял Медный всадник
Россию на дыбы, —
И не держался конь его
На двух опорных точках.
И конь оперся на змею.
Вот присказка судьбы!
Дорическая стройность!
Стоическая школа!
Зато умершим в тюрьмах
Не нужно саван шить.

А что это такое —
Крамольник без крамолы,
Наверно, очень трудно
И в Лондоне решить.
И я хожу гуляю
По русским Пропилеям,
Былые вольнодумцы
Приветствуют меня.
Старинной дружбой с ними
Я только и владею,
И не могу сулить я
Полцарства за коня...

1972

ВЕСНА В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Сквозь прозрачные зеленые просветы
Самой первой, самой солнечной листвы
Купола — как облака. И против ветра
Золочеными ковчегами кресты...
Все плывет не очень медленно, не быстро.
Но куда-то нужно девушкам успеть.
Они легкие и нежные, как листья,
Не успевшие на солнце огрубеть.
Пробежали, словно ветер по вершинам,
И исчезли, словно шорох, прошумев...
Жили — не жили,
Грешили — не грешили,
Все утонет, точно в тине, в тишине...
И увидел я кресты над изголовьем,
И кресты, что над вершинами плывут,
Не ошибкою, а сказочным присловьем:
Где-то люди жили-были
И живут...
Это все легко, как птица,
И родится
Рядом с нами прозвенеть и умереть,
И не может это вечное отлиться
В нашу мерную натруженную медь.
А кресты над куполами близко к облаку,
Словно к берегу...
Зачем она нужна,
Жизнь без радости, без тела и без облика?
Под «плитой сей» давно не спит княжна!

Все расстались.
Все распалось и растаяло.
Все как луч.
И словно след луча,
Жизнь одно словечко нам оставила,
Черное, как семечко:
Ничья.

1972

ДНИ ПРОСТЫХ РЕМЕСЕЛ

В войну настали дни простых ремесел,
Совсем простых, полузабытых, древних.
Они пришли ограбить и забросить,
Как бабы приходили из деревни,
Пришли и обступили горожанина.
И я тогда сидел у полки книжной.
А у соседа вкусно пахло жареным.
А я там был непрошеным и лишним.
Соседа в гости звали инженеры,
Врачи и знаменитый академик.
Он приходил в оборванной шинели,
Крал печки. И не брал за это денег.
Как Бог, он получал за это жертвами.
Он брал жратву: картошку, хлеб и сало.
Хотя их всех с семейством было четверо,
Но иногда и мне перепадало.
Тогда он говорил слова такие:
— Вот ты, парнишка, печки не построишь.
Пришли, парнишка, времена лихие.
А ты без рук. И ничего не стоишь.
Но стоил я — да стоит ли подсчитывать? —
Различных книжек, до войны прочитанных.
И я читал великого поэта
И всех героев мерил по себе:
Был сыт Ромео и сыта Джульетта.
И это
Утешало в их судьбе.

Мне Бог ремесел правильно советовал.
И я к нему учиться поступил.
Но с той поры, как времени вот этого,
Я тех ремесел гордых не любил.

1962

* * *

Есть у стихов достоинство и честь,
Когда стихи не вымысел, а весть.
Тогда стихи не слышатся легко:
В них слово плотно, как земля, легло.
Зато они — опора для меня,
Как дом в огне — опора для огня.
Пусть без остатка выгорит в словах
Все то, что в них ничтожество и страх,
Все то, что в них — тщета и суета,
Убранство храма,
А не смысл креста.

1972

* * *

То похороны, то проводы.
Кто — в Лету,
А кто — в полет...
К застольям такие поводы
Столетие подает.
Прощайте, друзья-ровесники!
В какую же вы страну
Взбегаете вверх по лесенке?
Окликну и не верну...
А громко я или тихо
Крикну ему или ей,
Услышит ли Эвридика,
Оглянется ли Орфей, —
Но оба вверху исчезнут,
И в небе простынет след...
Окончился век железный.
Богов и героев нет.

1976

* * *

Не надо верить темноте,
Обиде, горечи и злости!
Удар в затылок —
Хрустнут кости,
И деться некуда мечте.
И нет ее.
Лишь темнота, безжизненная, никакая,
Объяла мертвого Христа.
О ней я ничего не знаю.
Не надо верить темноте!
А слово — Бог.
Как пуповина,
Оно связало воедино
Меня с умершим на кресте,
Поправшим смертью смерть...
Повсюду,
Где верят и не верят чуду,
Не общей смертною золой,
А словно круговой порукой
Единой радостью и мукой
Связало слово нас с тобой.
...Поэт, умерший в наше время,
Поэт, погибший за сто лет, —
И я, посредник между теми,
Кого нигде на свете нет...

1976

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ШАРЖ

Цвет нации, который
Когда-то прежде был,
Загнулся без калорий,
Закопан без могил,
Оставив опыт — слово
Могучее: «Не смей!»
Вон, видишь сверху — провод?
Там вместе — власть и смерть!
Дотронулся руками —
И где ты, человек!
Не то — горелый камень,
Не то — бессрочный зэк!
...И терпят, губят, любят,
Обманывают, ждут;
Бывает, в холод лютый
Погреться не дадут.
Один другому — кореш,
Другой другому — вошь.
Что сможешь — то отколешь;
Где спрячешь — там возьмешь!
И чужды здесь от века
Нерусские слова,
Что есть у человека
Отдельные права.
Есть у него начальство,
Работа и семья —
На том живи и здравствуй,
Не обижай себя!

А если что случится, —
Кого, за что корить?
Словчить ли, отличиться ль, —
Даст Бог, перекурить!

1978

РАЗМЫШЛЕНИЯ О БЕГЛЕЦАХ

Пристало ли Сократу бегать,
Вдаль уносить афинян беды,
Их глупость — главную беду —
Не уведя на поводу?
И он услышал голос Бога,
Что кончена его дорога
И что пора сомкнуть уста
В ту ироническую складку
Долготерпенья и покоя,
Что у погибшего кота
Или у мертвого героя
Одна и та же.
Бедный кот!
Да и герою не везет...

А может быть, преклонный возраст
Подвел Сократа?
Почему
Неправые бегут под звезды,
А правые идут в тюрьму?

Ах, если бы Христос из сада
Бежал, забыв Ерусалим!
Ах, если б в небе чаша с ядом,
Как ведьма, погналась за ним!
Тогда б, возможно, оказалось,
Что все в дороге расплескалось, —
И был бы жив тогда Христос!

Вот ироническое чудо!
Распятые пусто.
Нет Иуды.
Но кто же с нами? —
Вот вопрос!

1974–1977

ПОБЕГ

Всеобщий страх свободы.
Романтика тюрьмы.
Откуда эти моды?
И кто такие мы?

Отсюда наши песни:
С Таганки, с Красной Пресни,
Там вьется Черный ворон,
На крыльях Красный крест,
Там выдаст Бог, а боров,
Когда захочет, съест.

По шпалам, брат, по шпалам,
А то не устоим!
Тут горе запоздалым
И крышка остальным!

Скорей, в края забвенья
Всех горестей былых,
И сроков заключенья,
И песенок блатных.
Нам хуже там не будет.
Нам хуже было тут.
Там деловые люди:
Не купят — продадут!

По шпалам, брат, по шпалам!
Земля — словно луна.
Под нами темным шаром
Качается она.

По облакам, по звездам
Спеши, браток, спеши,
Пока еще не поздно
Во здравие души!

Откуда вы?
— Оттуда.
Пришли со всем своим.
А держимся не чудом:
На облаке стоим!

1979

* * *

То похороны, то проводы, —
Что значит: «быть иль не быть»?
И по какому поводу
Опять мне придется пить?
Не пьют по следам арестов.
Не пьют. И не ждут. И не спят.
Гадает насчет Ореста
Злосчастный его Пилад...
А тут — пустота в пространстве.
Дыра. Человека нет...
Дай Бог вам тропинкой странствий
Уйти от страстей и бед!..

1976

ПОСЛЕ ПОХОРОН КОСТИ БОГАТЫРЕВА

Плотная вода —
Черная земля.
Вот она сомкнулась —
И в себя взяла.
Над лицом поверхность:
Дерево. Трава.
Звезды не померкли.
И звучат слова.
И, как будто маска,
В глубине легло
Вверх закрытыми глазами
Бледное лицо;
Смотрит вверх оттуда.
Смотрит в никуда.
И не в силах чудо
Долететь туда.
Боже, приоткрой мне
Потайную дверь,
Дай взглянуть сквозь слезы
И шепни: «Поверь».
Лучше быть Фомой Неверным,
Чем, горя дотла,
Видеть прахом, дымом серным
Все твои дела...

1976

ПАМЯТИ КОСТИ БОГАТЫРЕВА

...И я все думаю и думаю:
Куда мне деться? Как мне быть?
На фронте проще с пулей-дурую,
Намеревавшейся убить.
Раз не убила, то присвистнула:
«Живи, бродяга, не греши!
Гуляй до следующего выстрела
Во здравие своей души!»
А тут свинчаткою по черепу.
Железным ломиком под дых.
Конечно, в общем-то ничем это
Не хуже тех же фронтовых, —
Но время мирное. И вроде бы —
Где фронт? И кто против кого?
И чья там поджидала Родина
В подъезде друга моего?
Печатью Каина отметиться
Не могут горы и моря.
У них, бандитов, есть отечество.
А эта Родина — моя.

1977

* * *

Уходит поколение победителей.
Уходит поколение побежденных.
В музеях — поколение посетителей,
Незнанием до зубов вооруженных.
Знамен обрывки... Шпаг обломки... Или
Воззвание и выцветшее фото...
Давно зарыты те, кого убили.
Зато убийца, победитель, — вот он.
И все равно, усами ли, бородкой
Иль подбородком, как бульжник, голым, —
Но вверх! Торчком! Колом!
И сладкой ноткой
Экскурсовод воркует:
— Вот он, голубь!
Был незлобив, — но уж не мазал мимо!
Враг для него — как бы фигурка тира.
А он для нас — краса и гордость мира!
Решайтесь, покупатели, живите!
Себя, смотрите, не продешевите!
Они в ответ сквозь этажи и стены
Идут.
Зола — подобье черной пены.
Все плотное — подобие воды.
Растаяла и правда и свобода.
И в мутную они глядятся воду,
Чтоб выудить вещичек и еды...
И видят современные Нарциссы
Там пред собой изображение крысы.
Но все равно — грызут, грызут, грызут.

Портрет Вождя их растревожил снова:
— Он крысолов! Бежать от Крысолова!
Но, там, под сердцем, сладострастный зуд:
«Скорей дожрать! Купаться поведут!»

1977

* * *

Обрывается вдруг
Напряженье мгновенья.
Опадает, как лист,
Тело мертвое вниз,
Как тяжелая, плотная, желтая тень,
Что отброшена бедной душой.
Где она? Что же станет с нею?
А телесная тень исчезает,
Ибо тело само по себе
Не имеет реальности камня
И прочности стали.
Напряженье мгновения,
Вечность земная,
Остается теперь
Лишь для нас,
Уходящих.

1976

МЕДИТАЦИЯ О МАТЕРНОМ СЛОВЕ

На четвертом этаже
Мне людей не видно.
Жить от этого уже
Менее обидно.
Слышен, правда, снизу мат.
Ну так что ж такого!
Наповал, когда впопад,
Матерное слово!
В нем матерость, материк,
Вся мастеровщина.
Бронетанковый язык —
Наша матерщина!
А при этом габарит —
Никуда не лезет!
От космических орбит,
С Колымы по Мезень —
Вот пространство! Вот размах!
Вот волнами ходит
Мат в кирзовых сапогах
При честном народе!
Даже сад и огород,
Вилы и лопаты
За работою народ
Поливает матом;
Матом кроют, если нет
Над семьею крыши,
Чтоб построил сельсовет
Или Бог услышал.

Мат многоэтажный в три
Этажа и боле
Строят, как богатыри,
Наши дети в школе.
Мат над русским языком
(не для протоколов)
Выдвиженец и нарком,
Верховод и молот.
Иностранные слова
В непонятных знаках
Расшибет он в раз и в два
Пролетарских взмаха!
И соединяет мат
Неким нервом общим
Генералов и солдат,
Толстяков и тощих,
Дворников, профессоров,
Молдаван, узбеков,
Прокуроров и воров,
Сторожей и зеков.
Даже Пушкин, — гений был!
Вечное светило! —
Беранжеру засветил
Матом прямо в рыло.*
Но сверкнул ножи в руках
Вмиг у инородцев,

* Желающих меня проверить адресую
к стихотворению А. С. Пушкина «Рефутация
г-на Беранжера». Полн. собр. соч. в 10 тт. —
М.: изд. АН СССР, 1957. Т.3, С.45–46.

Если кто на языках
Ихних матюкнется, —
По-грузински или там,
Скажем, по-тунгусски.
Хочешь матом по мозгам —
Говори по-русски!
Как романс нетопыря,
Тускло и помойно,
Мат наш ухаает не зря
Басом дальнобойным.
— Что-то будет впереди,
Мой российский предок?
— Лучше, парень, не ходи,
Мать твою разэдак!

1977

ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ

Посвяется Науму Коржавину

С той поры
Не знаю сколько
Утекло воды...
Океан.
Как от Нью-Йорка
До Караганды.
От приветов до ответов
И от нас до вас —
Все равно, что до рассвета
Не смыкая глаз,
Все равно, что до отбоя
По утрам в тюрьме.
Столько было до конвоя
Арестанту, мне.

То ли тяжкие вериги,
То ли западня,
Ненаписанные книги
Держат здесь меня.
И не чувствую в себе я
Легкости и сил
Упорхнуть, как в эмпиреи,
В край, где я не жил,
Где не жал я и не сеял,
Где по той вине
Мать и мачеха Расея
Будет сниться мне.

Вот и все.
Господь спасенье
Даст или не даст?
От надежды до решенья —
Дальше, чем до вас.

1975

ЭКСПРОМТ

Неужто мы — марионетки у страстей
И пожиратели, добытчики сластей,
И продолжатели себя из рода в род,
А кто не с нами —
Тем поддых и кляпы в рот:
«Заткнись! В себя уйди!
А мы своим путем —
Мы в магазины, в телевизоры уйдем,
В объятья женщины, в науку, черт возьми!»
Как много, в сущности, пещер между людьми,
Где можно спрятаться от жертв и палачей,
Где человек, почти как труп, уже ничей...

1978

* * *

Ненавижу я хозяйку,
Эту тонную вдову,
Эту даму — многознайку,
Дуру-паву на плаву!
Мне она сама сказала,
Что великий Кочетков
У нее на антресолях
Погребен среди тюков.
Вы не знаете такого?
Между тем известен он.
Друг поэта Кочеткова —
Златокудрий Аполлон.
А не верите — прочтите,
Не соврал я ничего!
Не достанете — простите:
Не печатали его.
Он лежит на антресолях
Мертвый, стало быть, поэт.
Об него споткнулась кукла,
У которой глаза нет.
Каблучонок женской туфли
Наступает на него.
Этот Кочетков не труп ли?
Труп — не более того!
Каблучонок-татарчонок,
Каблучонок-шебуток...
Слышен битых и ученых
Пыльных шмуток шепоток:
«Ишь, мол, ты, поэт великий,
Все равно, дурак, забыт,

Вместо памятных реликвий
Нами, нами, шкаф забит.
Нас с тобой перемешали,
Жди помойки, наш собрат!
Под крылом облезлой шали
Рукописи не горят!»
Ах, потомки и потемки,
Шмотки, шутки, тишина!
Спи, кифара без полочки,
Чья натянута струна!
И не важно, что там было,
Кто за нас, а кто за них...
...Гаснет дневное светило,
Без вести пропавший стих...

1976–78

ПРОЩАНИЕ

Посвящается Александру Галичу

Уезжают из России поэты,
Потому что наступила пора:
Видно, старая их песенка спета,
А у новой — ни кола, ни двора.

Здесь российская тоска и отрада —
Спас на Кручах, на Песках, на Крови...
Разве много после этого надо?
Хочешь — мучайся, а хочешь — живи!

Так и строятся ряды наших строчек.
С тем и катимся потом под откос.
Одиночество — приют одиночек.
Никому не разделить наших слез.

Никому не удержать расставанья,
Налетевшего, как ветер в степи...
Пусть друг к другу поспешат на свиданье
Ненаписанные нами стихи.

1974

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

И снова

В основе

Надгробного слова

Лежат мостовые чужих городов,

Глухие кордоны, заставы, засовы,

Кривая ухмылка:

— И этот готов.

От пули, от боли, от горького хлеба,

От сладкой свободы, от умных людей...

Ах, как ядовит этот нищенский жребий:

Незванный. Свободный. Ненужный. Ничей.

А только и дела: нечаянный случай, —

Отчаянный, сучий, концов не найдешь...

А, может, и правда царевич в падучей

Наткнулся всем горлом на собственный нож?

И наши стихи не придут на свиданье.

Вот разве что эти пойдут за толпой

Кривою дорожкой к границе молчанья,

К границе забвенья, где прах и покой.

Осталось не то, что звучит и поется,

Пусть слава на ощупь тверда, как алмаз, —

Нет, что-то другое от нас остается,

Что не было нами, но помнит о нас.

1978

* * *

Я не хочу ни зла, ни боли,
Но я хочу понять
И быть
Не горькой мыслью поневоле,
А страстью знать и не забыть.
И эта сила узнается
Людьми друг в друге каждый раз,
И ничего не остается.
Все заново рождается в нас.
Так из волны возникнет пена,
Чтоб снова сделаться волной...
.....
Что, если жизнь моя — измена
Тому, что оказалось мной?

1975

* * *

*Я стараюсь понять окружающее
в терминах Добра.
Слова одного современного философа*

...Он мыслит в терминах Добра, —
«Добра» — не злата-серебра,
И не добра, когда удар —
И рубят смаху...
А Бог не в терминах Добра
Творил и Еву из ребра,
И Самого из праха.
И, видно, был такой замес, —
Не Господа попутал бес,
Он так хотел, а я его понять не в силах, —
Что все на ощупь и на вес...
Ах, мой бубновый интерес!
А я-то ждал, чтоб мне светло и сладко было...
И каждый раз, когда живешь,
Мечтаешь, веришь, любишь, ждешь, —
Ты не дождался. Потерял или обманут.
Из рая изгнан. И опять
Пошел по ветерку гулять,
Уполз, как пес,
Свою зализывая рану.
Но все равно: люблю, хочу,
Надеюсь, говорю, молчу...
Чем мне пожертвовать
И для кого стараться?

Не уцелеть, не уберечь,
И спичкой моря не зажечь...
Но чем не истина:
Узнать —
И обознаться!

1977

* * *

Моя судьба литературная —
Бесславная и бесцензурная
И складывается не сладко,
А складывается, как складка,
У губ морщина,
Выражение
Упрямого долготерпения.
Я ухожу в свои стихи
Как будто бы в большие двери.
Я выйду прямо на потери
За первой линией строки.
«Мы — не рабы.
Рабы не мы».
Над вышкой лицо солдата.
А мы ни в чем не виноваты.
И это — линия судьбы.
А дальше — линия заката.
А дальше — листья, лица, звезды...
Все это — я.
Все это — есть...
Зачем в тюрьме такая честь?
За что всему — такое свойство:
Быть человеком
И молчать.
Не вспоминать,
Не замечать...
И я уйду из этих строк.
Мне надо только все запомнить,
Мне нужно этим все заполнить,
Уйти, словно вода в песок

Или как в землю капли пота
В стихи, статьи или урок, —
В чернорабочую работу.
На столько лет,
На столько зим,
На столько,
Может быть,
Столетий, —
Пока она идет на свете,
И на нее хватает сил!

1964

* * *

Что значит «рукописи не горят»,
Когда за них читателей корят,
Когда за них писателей сажают, —
И сажа, сажа хлопьями в трубу...
И сам писатель с биркою в гробу
Лежит, как говорится, не моргает.
Его потом из гроба — прямо в ров.
Здоровый ров, словно открытый рот,
Над всеми, кто летит туда, смеется.
А гроб обратно в зону возвратят.
Его дают умершим напрокат.
Ров не захлопнется, земля не отзовется.
Вот это — «рукописи не горят»?
Но, Господи, Ты был при этом деле.
Поэта слышал Ты последний стон.
И видел Ты его последний сон
С ним вместе.
Ты запомнил все, что сам он
Задумал, а исполнить не успел.
Но — Всемогущий! — Ты кусочек сала
Ему не сунул, чтоб поэт поел...
Ах, люди помогать не захотели!
Что будет с нами?
Станем ли золой?
Как были, так останемся Тобой?
Не знаю...

Но темны Твои пути.
Там человеку правды не найти.
А если там себя найти он сможет, —
То много ль в том Твоей заслуги, Боже?

1978

* * *

Нет, я не раб Господен!
Я не рад,
Что под пятой и под судом судьбы
Бессилен я.
Но все равно — не раб!
Пускай приходим к смерти, как рабы,
Мы все.
Пускай завишу я опять
От случая, от сучьего кивка;
Пусть, на прощанье не успев обнять
Любимых, —
 я исчезну, как строка,
Которую я в рукописи стер
За то, что в ней слова, как серый сор, —
Но я не раб!
Я пленник.
И когда
Ты, Всемогущий,
Вновь пошлешь мне боль,
И, скорчившись от муки и стыда,
Я вновь неравный проиграю бой, —
Я все равно не раб!
Я побежден
Твоею силой — только и всего.
Всего-то и победы — горький стон:
«Помилуй, Боже!» и «Спаси, Господь!»
Но раб — не я. А просто ты силен.
Поможешь — снова сяду я в седло.
Откажешь, — как костыль подгнивший, плоть
Меня держать не будет.

Я сражен.
Я больше головы не подниму.
Но если я и вправду сотворен, —
То пусть я горд, завистлив, зол и слаб,
Но я Твое подобье!
Я не раб!

1978

МОЛИТВА О БОГЕ

Свобода Божья — это произвол.
Бог все на этом свете произвел:
Несчастный случай, гибель и спасенье,
Чуму — и манну сладкую с небес,
Невиданное чудо Воскресенья
И тех, кого опять попутал бес.
С тем и молись!
Умасливай Его ты,
Что Он — твой милосердный, твой Отец,
Но если Он тебе подарит льготу,
Ужели позабудешь ты о тех,
Кто умереть — не хочет, жить — не может,
Кто был сожжен, растоптан и убит,
Над чьей могилой только толстокожий
О Божией всеблагости бубнит...
Нет, этот Бог — для сильных, озверелых,
Жестоких, словно зубья колеса,
Которыми полосовали тело,
Чтобы душа являла чудеса.
Приди, Господь, всесильный, мудрый, добрый,
Которому я верить был бы рад!
Тебя не существует слишком долго, —
Ужели я и в этом виноват?
Пусть Нынешний в ничто меня раздавит,
Не воскресит в раю своих теней, —
Но я умру, в сырой земле растаю
Слезую человека
По Тебе!

1978

* * *

Когда душат тоска, и боль, и гнев,
И в горле корчится напев,
Но не звучит,
 как спазма, он,
И ты почти на нет сведен
Удушьем страха, смертей, потерь,—
Поверь!
Я знаю, что счастье мое и дым —
Родные братья делам моим,
И хрупче птичьих
Кости людей
В курганах, где бусинки между костей.
И все, что случится, — польнь и прах.
И невозможно стучаться в небо.
Тот, кто для Господа прям и прав.
Часто с земли уходил, как не был!
Но все равно: и листва, и лед,
Запах цветов, мятежи, могилы, —
Все неизбежно в меня придет
Сосредоточья искать и силы
Пока я жив.
А когда умру —
Продолжи, прохожий,
Мою игру!

1975–78

СВАЛКА НА ПУСТЫРЕ ВО ВРЕМЯ ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКИ

Что там было на самом деле?
Тряпки тлели.
Рельсы ржавели.
Свалка — пустошь — корявый куст.
Рвань, железо, осколков хруст.
Под деревьями все убито:
В лоск затоптано, вдрызг распито.
Весь промасленный и застойный
Отражает реки рукав
Этот жалостный и помойный
Вид земли,
Обращенной в прах.
Этажи торчат в облаках...
Много больше в полях поспело б
(Если б не было зим!)
Зерна.
Только мне-то какое дело!
Пусть наводит красу зима!
Все равно бы это болото
Стыло б, мокрое, как мокрота,
И никчемное, как волдырь.
Дело тут не в трех урожаях.
Мало топчет — тут унижает
Землю наш дурак-богатырь.
А зима за Ивашкой следом
Все засыпала белым снегом,
На снегу построила день,
Как аквариум, солнцем полный;
Он на снежные эти волны

Голубую с золотом тень
Бросил так, как металы диски —
В ясном небе скользнуло низко
Солнце красное на заход...
Но кого же это тревожит?
Это с каждым случится может.
С нами тоже произойдет.
Что же было на самом деле?
И не тлели, и не ржавели,
А засыпанные белели
Смертоносные все углы.
И чудовищные домища
Не как жвачка, жулье, жилища
Были рядом между собой, —
А как взлет, силуэт, виденье,
Ткань тумана, преображенье
Слова песенною строкой!
Кучи стали теперь горами.
На алмазной, белой горе
Ветки черные в белой раме —
Как чеканка на серебре.
Это чудо вдруг облетело
Всю Россию этой зимой.
.....
Правда там, где не помнит тело,
Что когда-то было землей...

* * *

А может быть, сейчас затмение Бога,
Как было некогда затмение солнца,
И грифельный, тяжелый, черный диск,
Вокруг которого, как нимб, лучи чужие,
Словно зрачок застывший смотрит вниз, —
Мы молимся о мире, о России,
Но льется нам в ответ лишь полутьма,
Предсмертный полумрак убийств, насилий, —
Освенцим, Воркута и Колыма...
Мы мертвыми свои пути мостили.
Из дыма наши сотканы дома.
Так Сатана затмил Господен лик.
Зачем Господь позволил, — я не знаю.
Но помните: сильна молитва злая,
И умирает в ней живой язык.

Декабрь 1979

* * *

Бомбы разрываются близенько совсем.
Это — фронтовая аналогия.
Волк говорит: «Не выдам».
Свинья отвечает: «Съем».
Дальше будет чуда апология.
Чудо — это странность.
Уклоненье вкось.
От прямых с кривыми увольнение.
Если уцелеть мне
 чудом удалось —
То хоть в этом факте нет сомнения.
Остальное — было. Остальное — бред.
Остальное — тьма
в напоминание,
Что в конечном счете возникает свет,
Словно из небытия — сознание!

Ноябрь 1980

* * *

Без мудрости и страсти
Поэзия — пустяк,
Бижутерия, сласти,
Подкормка для собак.
Беда не в том, что беды
Приходят на пути.
От битвы до победы —
И некуда идти...
Но разве это просто —
Подумать — помолчать?
Забывтые погосты —
Вот Каина печать.

Январь 1981 – февраль 1984

* * *

Памяти Варлама Шаламова

Черный снег на фоне белом.
Белом,
словно омертвелом, —
вот колымская судьба.
Вот такое
поле боя
алкашу — для водопоя,
а Шемяке — для суда.
Лица черные.
Землею
обожженные.
Золою
ставшие.
Экклезиаст
говорил про вещи эти:
— Почернеет все на свете.
Волк не выдаст —
Вошь продаст.
Не хотите — не ходите.
Голубым богам кадите.
Ждите
милостей в ответ.
Что в основе негатива?
Люди жили?
Эко диво!
Век в колымских перспективах
пишет свой автопортрет.
1985

* * *

Сегодня пасмурный денек,
Но листья сами светят.
И если в лес сейчас пойти,
Они сияньем встретят.
И над ольхой перед окном
Не крона — нимб желтеет.
Короной станет он потом,
Когда отяжелеет.
Сейчас листва приобрела
Последнюю прозрачность,
Которая всегда была
Первоначалом качеств.
Не думайте, что смерти нет.
Но где-то до начала
Ничто —
Ни темнота, ни свет —
Рожденье обещало.

1982–февраль 1984

* * *

Все соткано из темноты,
Из тишины,
Из одночасья,
Из тягостной мечты о счастье...
Из ничего растут цветы.
А кажется, что из земли.
Но в их подземную обитель
Харон, известный долгожитель,
Нас отвезет.
И я, и ты
Окажемся во тьме летейской,
Где после суеты житейской
Нам так не хватит суеты...
Все — в темноту из темноты.
Все — в никуда из ниоткуда,
А вовсе не из праха в прах.
Звезда и птица в облаках
Не явь, а явленное чудо.

1981—88

* * *

Может ли прийти в себя покойник,
Огне- или звездо-поклонник,
Как пришел в себя наш Христос?
Он вошел туда, в свое тело,
Что-то там исправил и сделал,
И себя на небо унес.

А у нас — беда: нет свободы,
Нет свободы, только заботы
То об этом, то о другом.
А потом — победы, печали,
А потом — как было вначале,
А сейчас — как будет потом.

В этом заколдованном круге
Как бы не забыть друг о друге,
Крутится, летит карусель
Прямоком отсюда — в могилу...
Не в земле волшебная сила.
И не в нас высокая цель.

Но повсюду явлено чудо:
Все пришло сюда — ниоткуда.
Чет и нечет — из ничего.
Солнце было — солнца не стало,
Будет все не так как бывало...
Это воскресило Его.

1987

ПАМЯТИ
М. А. БУГУСЛАВСКОЙ

От праха, — от мгновения,
Когда звезда зажглась,
До праха, до паденья
В кладбищенскую грязь
Не так уж много ходу.
Что было? Что потом?
И где свою природу
Мы наконец поймем?
Природу Бонапарта?
— Нет, Лира-короля.
— Да.

Гонщика у старта
В машине без руля.

1984–86

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЯХ

1

О смелых полярниках

Какие шпроты были прежде, до войны!
Но скрылись рыбки прочь из Северной Двины
В ледовый, черный, белоглазый океан,
Где не читал молитв отважный капитан,
Когда его орденосный ледокол
Попал на льдину, словно лист на дырокол,
И всей обшивкой трепетал и скрежетал,
А капитан себе геройской смерти ждал.
Но что такое «героическая смерть»?
Пускай мела метель на льду, как белый смерч, —
Никто не скажет, что сугробов купола
И вправду сделаны из стали и стекла,
Как светлый купол Пантеона на холме...
Хрустит железо из картона на корме!
Смерть героична для учебников, потом.
А тут по правде: пот холодный и потоп.
Крутило, корчило, корежило — и вот,
Словно луна вверху торжественно плывет,
Являет смерть свой отстраненный желтый лик,
Как будто череп показал толпе язык.
Могла ли смерть пойти на этакий стриптиз?
И что заставило — приказ или каприз?
Но был в те дни еще загадочный вопрос:
— Зачем Петров на Николаева донес?

2

О посмертно
реабилитированных

Какие шпроты были прежде, до войны!
Но скрылись рыбки прочь из Северной Двины
В консервов банки.

Улеглись рядами там
И ждали участи на дне железных ям.
Лежали тихо, мелким штабелем, рядком,—
Не так, как складывли мертвецов потом,
В колымских и печорских лагерях.
Там все лежали в крупных штабелях.
Туда, во глубину полезных руд,
Выбрасывал народ своих Иуд,
Чтоб голые и мерзлые тела,
Как здания из света и стекла,
Свидетельствовали, какой успех
Был в превращенье каждого во всех
Достигнут.

Так что каждый твердо знал:
Смертелен здесь особый идеал.
Какие были шпроты и икра!
Какая шла работа и игра!
Бывало, из орудия — шарах!
И нет воронки в месте попаданья!
Оттуда выростали вышки шахт.
В итоге разрушенья — созиданье.
И облако разрыва над землей
Не прахом опадало и золой,
А дивным перспективным удобреньем.
И зеков поздравляя с заключеньем,

Почтенный седовласый конвоир
Отчизну охранял и прочный мир.
Такие игры были до войны.
На всех — дела, и ни на ком — вины.
Не виноват был строгий вертухай,
Из ада конвоировавший в рай,
Не виноваты судьи и зека...
Край невиновных создала рука
Генсека Сталина.
Рай каторжных чудес:
Летели щепки,
хотя вырублен был лес.

1983

* * *

Поэзия должна быть смысловой, —
Не как с ружьем быть должен часовой,
А вот как с крыльями должна быть птица,
С когтями — львица,
Всадник — с головой.

1988

* * *

Что останется от жизни?
Сломанный кабриолет?
Дверцы старые кареты
И в могиле — эполет?
А как лихо пушки били!
Как мундир на нем сидел!
А какие душки были,
И как славно пунш горел!
Неужели страсть и сила,
Боль, и радость, и беда—
Все, как ветер, просквозило
И пропало в никуда?
И остался только этот
Несказанно жалкий след —
Пара старых пистолетов,
Пара сгнивших эполет?
Ну, а если сила наша
Тем еще укреплена,
Что Господь пиров и пашен,
Созидатель дней вчерашних,
Завтрашних или всегдашних
Бережет и времена?
И не сгнуло, осталось
С той поры и на века
То ли в шорохе деревьев,
То ли в песне тростника,
То ли где-то за пределом
Нами мыслимых чудес
Все, что к Богу отлетело, —
Даже танец экосез?

Вдруг оно одной душою
Пусть не длится, а живет...
Где и как?
Для нас с тобою
Свет погаснет.
Бог спасет.

1986

* * *

Пусть нет меня повсюду, —
Но все мое — со мной.
Вдруг обернется чудом
Привычный путь земной,
Житейская дорога
С ее тоской и страхом...
Вдруг обернется Богом
Казавшееся прахом?

1983–1984–1987

* * *

Жизнь моя
Идет к концу,
А конец —
Кому к лицу?
Маска трупa. Маска тела.
Все, что было, — отлетело,
Зеркальце не запотело,
Поднесенное к губам...
Разве только в зазеркалье
Заметались... замелькали...
Кто и что?

Не видно там.

Так и протяну я ноги
Вдоль по жизненной дороге,
Вдаль —

отсюда в никуда.

— Что над этим протяженьем?
— Вифлеемское рожденье
И Колымская звезда.

1983

* * *

Что значит чудное мгновенье?
Прозренья — и исчезновенье.
Самообман в который раз.
Но только чудное мгновенье —
Не боль, не горечь, не сомненье —
Надежду оставляет в нас.

9 декабря 1987

* * *

Жизнь одноразова,
Как презерватив.
Не хватает разуму
Этих перспектив.
Выбросили на смех,
на смерть —

И конец.
Свел в могилу насморк,
Спид или свинец.
Но поверить в это —
Как сойти с ума,
Как поверить свету,
Будто сам он — тьма.
Впрочем, до сиянья
Солнечной зимы
Был наш свет зияньем
Междузвездной тьмы.
Шел за светлым светом
Свет, который — мгла.
Что за жизнью следом?
Чем она была?

1990

* * *

Стихи, в которых время анонимно,
Где нет его реалий и страстей,
Бывают часто родом онанизма
И потому в почете у властей.
Их уважают даже и поэты,
Не замечая, что подобный стих
Бесплоден, словно мертвая планета
И пуст, как ремиссировавший псих.
Зато стихи, где названо и ясно
Все то, что называть не безопасно,
Хотя бы то достоинство имеют,
Что на прямой, на лобовой строке
Жизнь повисает, как на волоске.
Да, музы тут от ужаса немеют, —
А все же помогают, как умеют!

1991

* * *

Метафоры многообразны
Как молнии.
И их разряд
Уничтожает верный взгляд,
И здравый смысл, и суть да дело, —
Лежит бездыханное тело
Какой-то твари прописной,
А бедный Разум сам не свой.
Ему известно: Бог был Словом.
Но Слово стало не собой,
А морем, небом и травой —
Метафорической основой
Себя же самого.
Оно
Всегда недовоплощено.
И потому пути познания
Ведут в ничто и в никуда.
Живая, мертвая вода —
Не сказка, а иносказанье.

1991

* * *

Что же получается?
Жизнь идет вперед:
Ложь не прекращается,
Ненависть растет.
На колхозном рынке
Турки бьют грузин.
И помой в крынке —
Сливки для разинь.
В поднебесном кресле —
Обер-прокурор,
На почетном месте —
Миша — мухомор.
Мухи мрут от скуки.
Лукоморья нет.
Умывает руки,
Как Пилат, поэт.
В общем — все в порядке.
В общем — все по чем.
И играют в прятки
Доллары с рублем...

1991

* * *

Сушит душу усталость
И жизненный опыт.
Все, что было, осталось.
Чему же тут хлопать?
Если ж это уйдет,—
То останется плакать.
Не такой я урод,
Чтоб искать эту пакость,
Эту дырку в ничто,
Где ни дна, ни покрышки...
Божьи искры мелькнут,
Словно серые мышки,
И останется жизнь —
Как плевков на ладони.
Божья милостыня
Для бродяги в законе...
Нет, уж лучше
 усталая страсть
И привычка...
А с эпохою связь —
Без поимки с поличным.

1990–1992

* * *

Не к берегу другому
Харон везет меня, —
А просто прочь из дому
От дыма и огня.
И весел плеск не слышен
В базальтовой воде.
Дух Божий всюду дышит.
А я зачем и где?
И все, что было прежде,
И весь мой путь земной
Останется в надежде,
Расставшейся со мной.

Август 1983

ПОЭМЫ

ПОЭМА ОБ ИМЕНИ

Посвящается

Анне Андреевне Ахматовой

Последние листки календаря,
А ветки тянутся и тянутся куда-то...
Колючие границы декабря
Для веток проходимая преграда.
Они хрупки и не защищены
Почти как люди.
И почти как люди
Они куда-то вдаль обращены.
А дальше снова — лето и зима,
Блеск молний или мерзлая земля —
А дальше облегчения не будет...
Но ветки тянутся и тянутся куда-то
Из девятнадцатого века в наш, двадцатый...

1

От Рождества Христова год какой?
От Рождества Христова год плохой.
А от начала века — двадцать первый,
Обманчивый, скользкий и неверный.
И дворники не скалывают лед:
Споткнется пешеход
И не встает...

Но в человеке есть наивность детства
И вера в очистительность огня.
О гениев соседство и наследство!
И комиссар садится на коня.

И новый начался виток спирали.
Но век, виток, — тончайший волосок!
Из толщи века люди замечали,
Что все опять идет наискосок,
Опять идет непрямо и неправо:
Заложники, расстрелы и расправы...
В огне борьбы Москва обледенела,
Никак не доберешься до живого.
Ах утонченный критик и эстет!
Зачем ты только поступил как дворник!
Изящный и скептический затворник
На улице, на льду решил оставить след.
Из легкого, изысканного слова
Вдруг дворницкий ты изготовил лом —
И напролом, по льду, стальным углом!

На звук не отозвался из земли
Далекий голос мертвого поэта.
Да ты и не рассчитывал на это.
Ты просто ждал. И за тобой пришли.

2

От Рождества Христова год какой?
— От Рождества Христова год хороший,
— Двадцать шестой или двадцать седьмой.
Извозчики твердили, что не плоше
Теперь живется, чем перед войной.
Живет в Берлине где-то дед, профессор,
Сторонник постепенного прогресса.
А младший сын его хотел скачка, —
Профессорский сынок, профессор красный,

Принадлежит он к самой высшей касте
И гнет все круче линию витка.

Ему не до стихов.

Стихи живут

В урезанной профессорской квартире,

Где коммунальный, кухонный уют

Чадит в напоминание о мире,

О море, где качаясь, слово плот,

Обломок мира старого плывет.

Материализуется обломок

В двух комнатах и трех шкафах огромных.

Был брат отца философом и знал,

Что ни высокий разум, ни рассудок

Ни сгладить не сумеют, ни распутать

Корявые узлы добра и зла.

А разрубить?

Попробуй разрубить!

Который век с кладбища:

— Бедный Йорик!

Печальный шут, задумчивый историк,

За всех решавший быть или не быть, —

От человека

Остается дар.

От человека

Дар живет отдельно.

Стих тянется вдоль времени и вдаль,

Как будто существует параллельно.

Он проникает в нас,

А мы — в него.

«Быть иль не быть»? Не более того?..
И помечали редкие закладки
Прозрачные стихи,
Стихи — загадки...

З

От Рождества Христова год какой?
— Какое к черту Рождество Христово!
Все вверх, все вниз, все круто по кривой:
Расстрелян. Возвеличен. Арестован.
— Да кто такой?..

— Уже никто такой!

Еще вчера пророс чертополохом!
— А руки у кого в крови по локоть?
— Да что вы: тут не средние века!
— А что же?

— Разворот, полет витка!

И колесо истории, как жернов,
Мололо все — и камешки, и зерна, —
Все к черту, все на мыло, в никуда!..
— За что?

— Нас это не интересует,
Кого-то там за дело колесуют...
Что сделаешь — тридцатые года!

Отступление о тридцатых годах

Соль земли...
Что они, эти люди, могли?
— Слово — Бог.
Слово было в начале...

Присолили тайгу этой солью земли,
И снега солонее не стали.

А без соли
На воле
Жилось очень тихо и пресно.
Что же значило — выдержать бой?
— Маска Пушкина. Кресло.
Стать модным, известным, —
И остаться, как богом, собой!

Но среди комсомольской,
Пламенеющей готики
Быть как Гёте не просто:

не оставят в покое.

Копошились букашечки,
С маленькой буковки гётики,
Торговали халтурой:
— Что сделаешь, время такое!

* * *

Взметнулись к небу новостройки,
Горит Уэска и Мадрид.
Китай проснулся на Востоке,
А следователь материт
Подследственного,
нерасстрелянного.

Но следствию-то неизвестно,
Что и ему земля подстелена,
В могиле братской — честь и место.
А мальчик строчки сочиняет.
Он их мечтою начиняет.

Стихи он бросит, как гранату,
Вперед, в грядущее куда-то...

* * *

В лагере говорят: «фитили».
А еще говорят: «огоньки».
А еще говорят «огарки».
Все это значит: дошли
До самого края земли.
У печки тебе не жарко,
Никого на свете не жалко...
С края земли — шагни!
Но дрожат на краю «огни».
Охранник доходягу ругает:
— Живет, гад, на работу шагает!..

А на воле растут заводы,
И темпы совсем не плохи,
И пишут поэты что-то
О бурном ритме эпохи.
Они ее ветром дышат,
Видят ее и слышат,
И думают даже поныне,
Что время давало льготы:
Право уйти в работу,
Как винтик в стальной машине.
Мне другие дороги были:
Винтики ночами не спали,
Все правды по приемным искали,
Ослепшими, оглохшими были —
Людей своих никак не уступали.

4

Как в прибаутке «ладу-ладушки»
В ладоши хлопнул режиссер, —
Один остался я у бабушки
Плюс пионерский мой костер.
Бывают вдовушки соломенные,
Сироты могут быть соломенные:
Отцы их ели виноград —
У деток на зубах оскомина.
Сын за отца не отвечает,
Как это Сталин отмечает,
Но все же сироты соломенные
Живут с известною оскоминою:
Вдруг сирота добаться рад,
Да только зелен виноград?

Запомнил я себя в приемных,
Потусторонних и огромных,
Где всех объединяло горе,
Все оставались посторонними,
Поскольку все глядели в корень:
«Вдруг у соседки муж — шпион,
И уколюсь я, как шипом?»
А бабушка читать стихи любила.
Одно стихотворение потом,
В тридцать седьмом или тридцать восьмом,
Особенным, ее любимым было —
Про то, как на Малаховом кургане
За что-то офицера расстреляли.
Во мне стихи застряли, как осколок.
Мне в детстве не хватало тишины.

Но чувства были так совмещены,
Как совмещались бабушка и школа:
Мне офицера жаль. Но верно сделали —
Ведь это наши расстреляли белого!
Но как же бабушка могла охватывать
И этот стих, и красный мой костер?
За бабушку

я не любил Ахматову,
А вот стихи запомнил до сих пор.
Потом я увидел ее портрет:
С горбинкой нос. Лицо надменной всадницы.
Ей впору шпоры в иноходца всаживать —
В стихах же ничего такого нет.
Подростком я романтику любил.
Багрец, Багрицкий, трубы и знамена —
Контрабандист, съезжающий с перил,
Объявленный в квартире вне закона, —
А тут в стихах узорчато, но матово...
Поэзия для бабушки — Ахматова!..

5

В сорок девятом мы, не простаки,
Скорее — комсомольские пророки,
Ценили декадентские стихи
Как памятники чуждой нам эпохи.
Все эти безделушки да игрушки
Не помогают строить и любить.
Мы наводили Пушкина, как пушку,
Чтоб из нее космополитов бить.

Я знал, что был я сиротой соломенной,
Что мог я жить с известною оскоминою,

Что дети за отцов не отвечают,
Но есть такое слово — «подозренье»,
Оно меня почти разоблачает,
И я теперь не в праве на сомненья.

И был всегда готов воскликнуть я,
Как некогда сказал поэт Волошин,
Хотя и декадентский, но хороший:
«Господи, вот плоть моя!»
— Давай! — сказал Господь.
В тюрьме покорно
Я ждал, когда же перемелет жернов
Меня на удобренье.

А пока
Воспитывала камера щенка,
Потомка буржуазного эстета,
Бухаринца известного
сынка,
Короче — комсомольца без билета.
Шесть месяцев я дрался в окруженье,
Как будто крепость брестская стоял.

Сам Рулевой меня арестовал!
Но... кончилось мое вооруженье,
И вдруг я понял:
Может быть обманом
Все то, что прочно, — камень и бетон,
Быт устоявшийся и верно взятый тон,
Все может рухнуть
От простого стука, —
От стука в дверь.
Стать удаленным, странным,

Стать умершим.
И опустеет ступка,
Твоя квартира,
Где в хорошем чине
Ты жил и где тебя толкли, мельчили,
Чтобы ты стал частицею, крупницей
В цементе жидком,
А твоей судьбой —
Кого-то сцементировать собой.

Но не дали бедняге укрепиться,
И старший лейтенант кончает обыск...
Зачем она была тебе нужна, —
Вся осторожность, пристальность и робость
Раба,
И страх переть против рожна...
И вот тогда-то, лежа вверх лицом, —
Лицом к стене лежать не разрешалось —
Я над собой увидел эту малость,
Которую когда-то звал стихом.

Тянулся стих вдоль времени, как ветка,
Как провода над снежным полем, вдаль, —
Тут ничего не сделала разведка,
И ничего не разрубала сталь.
Стихи тянулись странною загадкой
И смутным обещаньем... но чего?
Как будто были вечности задатком...
Ах, распроклятый Йорик,
Бедный Йорик!
Кость лобная —
А вовсе не «чело».

«Потом»

Не остается ничего

Сверх капсулы для ниши в крематорий!

Но я не мог отделаться от чувства,

Когда увидел над собою стих:

Не я его,

А он меня настиг,

Не я нашел, а он во мне проснулся.

Он убежал.

А жизнь — внизу и сзади —

Лежала как огромная земля...

И понял я, что добровольно запер

В своей эпохе самого себя.

И тут пришло мгновение свободы.

Но век, виток, тончайший волосок,

Тянул меня с собой наискосок,

И вкривь, и вкось наматывая годы...

Вдруг время повернулось по-иному.

И я освобожден. И я в Москве.

И более того: я невиновен,

Не виден глаз в невидимом глазке...

И вот стою я у дверей квартиры,

Где пять звонков, как будто пять пунктиров,

И линию мне надо провести,

Кривую к завершенью привести...

И в комнатенке маленькой — она.

Не имя и не стих —

Она живая,

Чья жизнь была трудна, была длинна,

Тянулась, поколения сшивая,

Суровая, невидимая нить...
Нас трудно было всех соединить.

И вот сквозь стены стали и стекла
Она прошла — и вдруг соединила!
Какою силой? И откуда сила?

.....

Как это странно: «магия стиха...»

*1963, окончено в день десятилетия
со дня смерти Сталина*

ПОЭМА О МОЕЙ ЛЮБВИ

Посвящается моей жене

Предисловие к стихам всегда выглядит странным, но хуже, когда прочтение стихов оказывается неправильным. По этому делу сейчас много специалистов, а я не хочу, чтобы стихи оказались ловушкой для их автора. Общечеловеческое живет лишь в конкретных частностях времени и людей. Я не хотел прятать время в подтекст, но именно это заставляет меня надеяться, что тема поэмы не будет понята узко. Мне важно было показать, что человеческие ценности остаются живыми, как бы ни сдавливала их скорлупа событий.

Пролог

— А чем тут, Иванушка, пахнет?
— Да вишь вон — краска горит,
Сжигают Божии лики,
Так государь велит.
А юродивый кричит — кружится:
— Посмотрите, люди добрые,
Царство Божие в огонь рушится,
Богородица-троеручица
В огне кручинится — коробится,
Прыгай, батюшка, в огонь,
Прыгай, матушка, в огонь,

Коли хочешь святым сподобиться!
— Старого письма, говорят, образа.
На них, говорят, и помолиться нельзя.
Молитвы не дойдут, Господь не услышит.
— Ладно, старые сожгут, — новые напишут!
А ты на мне женишься?

И я пойду, пойду, пойду за ними,
Через века за этими двоими.
У них своя повсюду полоса,
А рядом — колея от колеса
Истории...
— А кто тут, Ванечка, раньше стоял?
— Сталин стоял, исполком его снял,
Да и снять не сняли —
Молотками разбили,
Он и разлетелся в разные стороны.
Мы тут с дружкой пиво пили, —
Смотрим: под кустом полруки,
А в кулаке листки
В трубку свернуты.
Смех один!

И вот они идут, уходят вновь,
Как будто бы в тоннель,
В свою любовь,
Они все дальше, дальше — и растают,
И обратятся в землю, плоть и кровь.
Столетия, словно листья, облетают
Им под ноги.
О, вечная любовь!
Великая, безлика любовь!

Но над листвою
Живут созвездья слов,
А не созвездья глаз.
Созвездья красок,
А не созвездья ласк,
Созвездья сказок,
Созвездья
Сотворенного до нас.
И звездочки —
Как маленькие точки
Бессмертия.
Пересечется взгляд
Мой
И давным-давно уже погасший,
Мой
И не существующий пока что
На них —
На куполах церквей, на строчках,
Шагнувших из грядущего — назад
Или из прошлого — вперед.
И я хочу
Стать звездочетом,
В звездах заплутаться, запутаться,
Чтоб только не встречаться
С влюбленными,
Которые опять
Не могут друг от друга оторвать
Глаз, мыслей, рук, —
Не могут и не могут.
Они сейчас друг в друге —
Как в тюрьме,
Как в нимбе,

Как в сиянье,
Как во сне.
Я так любил.
Но для такой любви
Быть человеком —
Это слишком много!

Монтекки и Капулетти

Один — гнезда Дзержинского чекист:
Два ордена и даже две машины.
Другой — профессор красный, уклонист,
Бухаринец, интеллигент паршивый.
Профессор красный выцветал, пока
Он с тестем будущим беседовал в ЧК.

У нас все было, как у тех двоих,
Известных Капулетти и Монтекки.
Но подружила нас в двадцатом веке
Оперативка.
Пошлый детектив.
Покуда мы росли,
Великий Сталин
Успел убить враждующих отцов.
На ссору мы родиться опоздали,
Все на любовь сошло в конце концов.
И девочка,
В испаночке и галстучке,
И девушка,
Как ивовая ветка,
И пионер —
Всегда готов! —

На карточке,
Преступник
Двадцати годов
В разведке, —
Мы оба за отцов не отвечали.
А встретились, когда нас отмечали:
Мы жили в ссылке, как на поплавке, —
Тревожно, безнадежно, налегке.

Встреча

И вот оно пришло. Оно случилось.
И ты, как будто луч, в меня вошла,
Как будто света острая игла
Задела нерв — и вдруг остановилась.
Во мне осталась.
Я тогда ушел.
Унес мгновенный световой укол,
След света.
Он остался б, даже если
Мы десять дней спустя не вышли вместе
Из-за колонн казахской контрразведки,
Где бонза, брынза, самодельный хан,
Саманный добродушный капитан
Держал врагов народа на заметке.
Ты, девочка, надежда, наважденье —
При чем тут гений чистой красоты?
Души моей мгновенное движение
Остановилось.
Обрело черты.
Тобою стало.
Ты была иной?

Что ж, Афродита не была волной,
Хоть родилась она из белой пены.
Все обретало форму постепенно.
Мы прошлое, как глину, разминали,
И мы отцов покойных разнимали,
И мы еще не знали, что любили,
Мы попросту любовь свою лепили.
Знакомились покойники покорные,
Какой-то вечной правоты поборники,
А может быть неправоты?

О них

Я написал тогда короткий стих:

*Расстреливавшие друзей
И расстрелянные друзьями,
Звезды полярных ночей,
Как свечи, горят над вами.
Из ваших потухших глаз
Струятся мертвые травы.
Не мне оправдывать вас.
Вы смертью своею
правы.*

Смерть не оправдывает. Смерть кончает.
Венцом терновым головы венчает.

И ты сказала:

— Девять грамм свинца

Дают взамен тернового венца,
И бирку лагерную на ногу покойнику,
Борьбы с другим покойником
поборнику.

А дальше что?
Холодная истерика,
Что нет в истории ни лодочки,
ни берега,
Ни логики, — а сплошь одни спирали?
А мы спирали эти
разбирали.

И вот соприкоснулись наши руки,
Найдя тупик, что должен быть витком.
Мы спутались, запутались друг в друге,
Мы лабиринтом сделались, клубком,
И каждый путешествовал в другом,
И что-то находил и ошибался,
И словно обо что-то обжигался,
А что досужим кумушкам казалось, —
Так нас пока все это не касалось!

Отступление

Зачем слова, Бетховен или Пушкин,
И жизнь, и смерть, и тысячи скорбей?
— Играй себе с неведомой зверушкой,
Зови зверушку «женщиной своей»!
Как это пусто: «женщина своя», —
Как будто женщина — нагая статуэтка,
Цветок или отломанная ветка,
Поставленная в хрустале стоять!
Да, если б оказалась ты чужой
И луч, твое явленье, не задело,
То тело не пошло бы за душой,
А может, все не так: душа за телом?

Какая разница!
Не получалось врозь.
Все как-то перепуталось, слилось, —
Бесплотный мир
И просто плоть живая, —
Хотят мои ладони обладать,
И вот ладони гладят, обладают...
Столетия, словно листья, облетают
Нам под ноги —
И будут облетать!

Р о м а н с о с с ы л ь н о й л ю б в и

... А город брошен был на глиняное блюдо
Растрескавшихся от жары степей.
Была природа лагерной и лютой,
А я тебя
 любил еще сильнее!
Великий Сталин жил в своей берлоге,
У самых звезд, — чем выше, тем страшней!
Его овчарки, и его дороги, —
А я тебя
 любил еще сильнее!
Людская жизнь была такую хрупкой,
Эпоха не заботилась о ней.
Была эпоха нашей общей ступкой, —
А я тебя
 любил еще сильнее!

Тюремная глава

Но мы гадали — и не угадали.
Меня в тюрьму по новой укатали.
Я память заморозил, словно нерв.
Все одеревенело в одиночке.
Но ласточками прилетели строчки,
Когда постановили: быть весне!
И память, нерв оттаявший, заньла,
И тело ласк, ладоней не забыло...
О тело заключенного! Оно
Одето — и всегда обнажено,
Пусть даже не избито — беззащитно.
Как это подло — гладить, обладать
И вдруг, словно зубами, обглодать
Его подковами сапог, —
И шито — крыто,
И тело окровавлено, избито,
Изрыто,
Словно рытвинами синими,
Чужими, немудрящими Россиями,
Тупыми, злыми, тесными вселенными,
Где людям не поверят, не простят,
Побои, дразги, праздники семейные
Застряли в полутемных пропастях,
Как мясо полусгнившее в зубах...
А я хотел, как чудного мгновенья,
Как жаждущий воды, — прикосновенья!

Ходили женщины, прохладные глотки.
При чем тут слово черное «измена»?

В любой жила прекрасная Елена,
А для свиданий были уголки.
И намечался лагерный роман,
Такой мужской, естественный обман,
Где все — природа,
Ни добра, ни зла...
Но я-то знал, каким-то нервом знал,
Что никогда мне этого не сделать,
Что теплота чужой и гладкой кожи,
Все ощущение другого тела,
К моим ладоням будет прилипать,
И смыть его ничто потом не сможет, —
Ни позабыть, ни смыть, ни соскоблить, —
Хоть руки серной кислотой облить!
И я потом приду к тебе опять,
Тобой ладони
 будут обладать,
Но все равно на них застынет пленкой
Невидимую, словно жировой,
След, слепок, ощущение
 тела той, —
И мне придется все тебе сказать.
Связать
тебя — собою,
Как веревкой.
Тебе останется и горько и неловко
Поцеловать, как будто грязь слизать, —
И будут вновь мои ладони чистыми!
Я этого перешагнуть не мог.
Я не пытался, словно крепость, выстоять,
Но я в любви был заперт на замок.

Тюремные стихи

Высоко тюремное оконце,
Угол неба, краешек штыка...
Ты — мечта, далекая, как солнце...
Есть ступени к солнцу — облака.
Надо жить возвышенной и шире,
Притерпись, пойми, переживи...
Только что беречь я буду в мире,
Собственной не пощадив любви?
Что в нем стоит силы и участия,
Боли, не разделенной с другим,
Больше несговорчивого счастья,
Названного именем твоим?

* * *

А миллион был потому виновен,
Что миллион, как стадо, поголовен.
Хозяин пушек и дорог мощеных,
Он так же невменяем, как мышонок!
Влюбленный богатырь
Из древних сказок
Охрану перебил и снес тюрьму.
Он крови не жалел.
Поэты — красок.
Да, можно посочувствовать ему!
А мне достались от такой любви
Дом на песке да церковь на крови.
Но, как чалму носили мусульмане,
Я шелковый шнурок носил в кармане
На случай, если ты умрешь. Я знал:
Девятый узел — как девятый вал,

И если затянуть его на шее,
Спасатели вмешаться не успеют.
Я жил тогда трагической нотой.
Она во мне и пела, и вела.
Для вертухая кто я? — вошь под ногтем!
А мне и крыши — словно купола!
Ходил я со своей петлей в кармане,
А по дороге открывал миры
В стихах или эпическом романе.
Трагическими, призрачными радугами
Они рассказывали, ратовали, радовали —
И получалось в мире их игры,
Что было все века одно и то же:
Христос и тонкогубый фарисей,
И самый главный, третий, краснорожий,
Отличный мальй, вечный мальй сей.
Средь этой троицы жила любовь моя.
Не только нам с тобой принадлежала, —
Она собою что-то продолжала,
Как лес и горы, камни и моря,
Она была во мне — и не со мной:
Все бережное, нежное, живое,
И ты, и я, и просто круг земной...
За что всему — раненье ножевое?
Но если даст команду фарисей,
То поднажмет на кнопки мальй сей, —
И тут моя беспомощная злость
Всех к черту перечеркивала вкось!
В таком негармоничном состоянье
Я был освобожден от наказания,
Поскольку отдал Богу вождь в тиши
То, что имел он в качестве души.

Бумажный кораблик

И десять лет, как я на воле,
И я теперь учитель в школе,
И даже литератор... Нет,
Я не скажу себе: поэт.
Ложь.
Нет профессии поэта,
Как нет профессии у света:
Он светит просто потому,
Что деться некуда ему.
Так прошлое — за часом час,
И день за днем, и вновь двенадцать, —
Вперед проносится сквозь нас,
Куда еще ему деваться?
Уходит прошлое вперед,
И снова человека встретит,
А путник врет, не узнает...
Бог с ним, слепым и свет не светит!
И говорят, что мы с женой
Не то чтоб сделались моложе,
А в чем-то сделались похожи.
Ведь прошлое не сожжено,
Ведь прошлое не корабли,
Которые от нас ушли...
Мы не забыли. Мы любили.
Мы памятью
вперед ушли.

Друзья и враги

Друзья

Моих друзей сухие ямбы
Закачивают, словно ямы
Глухих проселочных дорог,
Которым техника не впрок.
Что ж, правы добрые знакомые,
И все претензии законные!
Эпичны чересчур стихи,
На них все сроки истекли,
Все сроки давности,
Все сроки главности,
А главное — лирической забавности
И тонкости.
А все мы утонченные,
Все любим Шостаковича и Баха,
Понятья, до предела уточненные,
Хлебнули страху и не рубим с маху.
Все любим понервнее, поострее —
И медленно, нервически толстеем.
Посмотришь на раскормленные физиы —
Какие к черту лирики! Все — физики,
Довольные развитием науки,
Вот как щенята — молоком от суки.
А я, хотя друзей своих высмеиваю,
Но фарисею сам подфарисеиваю,
Поддакиваю малому сему,
Что лишнее для жизни — ни к чему.
Хоть друг-то он, конечно, не продаст,
Но ведь на хлеб он тоже не подаст,
Тем паче, что сейчас идут года

Не очень жирные, но в общем мирные,
Нужны с начальством отношенья милые, —
А жизнь отдать — пожалуйста, отдам,
Но всю, а не по мелким неприятностям,
По разным неотмытым неопрятностям.
А так как жизни в целом не нужны, —
Умоемся по случаю войны!

В р а г и

— Гляди, Пашка, весь дом спит,
А на втором этаже свет горит.
Эй, вы, там, — тушите свет!

А мы молчим, будто нас дома нет.
— Вроде не слышат, гады!
— И я тебе говорю: весь дом спит,
А на втором этаже свет горит.
— Кто там живой, подойди к окну!
— И я вот железякой их шугану!
— Правильно, энергию экономить надо!

Но дворничиха встала на защиту —
И вот окно у нас пока что
не разбито.

Продолжение
«Бумажного кораблика»

П о п ы т к а р о м а н с а

Ну как мне написать романс любовный?
Он будет сладеньким, как суп морковный.

Придешь домой ты через полчаса.
Обидишься: посуда не помыта.
И кончился романс, как начался —
Невелика любви моей палитра.
Тетрадь. Урок. Опять урок. Тетрадь.
Дочь в школу отвести. Варить. Стирать.
И собирать проклятые спирали,
Которые мы прежде разбирали.
Все кажется: сползает вниз виток,
Все время вниз, к войне, наискосок,
Под тяжестью готических вселенных
Или мясных, квасных, обыкновенных.
А что мы можем?
Что предложим, —
Два человека, ты и я?
— А мы любовь свою продолжим,
Свое начало бытия!
И я вселенную свою
Для всех, кто хочет, освещаю,
Доделываю и смолю,
Для плаванья оснащаю.
Ведь мы-то знаем эти рифмы:
«Любовь» и «кровь», и «страсть» и «власть»,
«Убить» и «быть», — такие рифы,
Что можно всем на них пропасть!
Но скажут мне: все спорно, все условно...
И тут я напишу романс любовный!

Р о м а н с о
« Б у м а ж н о м к о р а б л и к е »

Плывет, плывет кораблик мой бумажный,
Он лучший из бумажных кораблей.
Я — капитан, и вовсе не отважный.
Но я тебя

люблю еще сильнее!

То фарисею я подфарисеиваю,
То умаляюсь, чтобы малый сей
Доволен был...

Высмеивай, высмеивай,

А я тебя

люблю еще сильнее!

Броня крепка, и адмиралы правы,
Но сверху бомбе все равно видней.

Плывут внизу бумажные державы,

А я тебя

люблю еще сильнее!

* * *

И кажется мне иногда: происходит

чудо,

И кажется мне — чередою не шли года,

А просто вдвоем мы сюда пришли

— ниоткуда,

Дай Бог нам отсюда

вдвоем уйти — в никуда.

Мы были всегда, словно корни и почва,

— вместе.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Фрагменты, продолжающие
«Поэму о моей любви»

Посвящается моей жене

1 Путешествие по Гарцу

Мы по Карпатам
шагали так,
что горы покачивались
нам в такт:
впадина — гребень,
спуск — подъем,
а мы все время
с тобой вдвоем.
И наша трасса —
от черепиц
до черных сосен
и синих птиц...
И если б мы
в Германии жили,
мы б точно так же
по Гарцу шли.
Старые песни
венки нам вили,
новые мили
вперед вели...

А в поднебесье
был кабачок.
Палки на лавку,
пива глоток...
— Здравствуйте! —
нам говорит кабатчик.
— Хайль Гитлер! — я
говорю ему,
совсем не в шутку,
а потому,
что я ведь — немецкий мальчик,
по Гарцу с невестой своей иду
где-нибудь в сороковом году...
Ах, общечеловеческие чувства
и прочие красивые слова!
Зачем ты мне, высокое искусство!
В конечном счете
 родина права!

Горы сбились с маршевого ритма, и я
вспомнил, что мы прошли мимо распятия,
на котором висело туловище Христа из
плоской проржавевшей жести. Кто-то
отломил у Христа ноги и воткнул их
рядышком в песок.

Ах, красота! Святая простота...
А вместо воровства —
свирелькою пастушьей
нас крысолов
обвел вокруг креста
от простоты.

Спасите наши души!

.....
Мальчик девочке своей
еще руками машет,
он эдельвейсы рвал в горах,
она его ждала...

А уже моя любовь
над обелиском павших,
как облачко разрыва
куда-то поплыла...

2

Роза на дверях
Бернардинского костела

— А вы, молодые люди, верите в Бога?

— Нет, — сказала она.

— Я не знаю, — ответил я.

Тогда старик обвел руками все вокруг, а
вокруг были добродушные, как спящая
домашняя кошка, горы, Карпаты, сквозь
зелень просвечивала черепица, а по
склонам паслись белые овцы.

— Как же так, пани, у ваших маленьких
часов есть механик, а у всего этого нет
механика? — спросил старик.

— Но ваш механик никак не может
сделать, чтобы все шло хорошо, —
ответила моя жена.

— Вы еще очень молоды, пани, — сказал
старик.

Назавтра мы оказались в костеле, где
нынешние львовяне собирались открыть
музей деревянной скульптуры. Младший
научный сотрудник долго не мог отворить
нам дверь, потому что ему мешала роза.

А роза красная, как будто капля крови,
Дрожала на заржавленном засове.
Светилась Божьей Матерью звезда
И увядала медленно и верно,
Как сказочная мертвая царевна
Или как тело, снятое с креста.
А роза проволокою колючею
Была к засову напрочно прикручена.
Против насмешливых мальчишек и девчонок
И против всех безбожников Она,
Как символ веры на смерть обреченных,
Была железом вооружена.
Так полоумная старуха-католичка,
Себе калеча пальцы с непривычки,
Остервенело ограждала здесь
Святую розу, как слепую месть.
За то, что здесь
Воспоминанья жили,
Их, как людей,
Топтали и душили,
Теперь Мадонны символ,
Роза эта,
О правосудном гневе вопиет,
Словно строкой
Гражданского поэта
Ей сделаться в наш век пришел черед...

Не пройдены кратчайшие дороги.
Расстреляны латышские стрелки.
Лежат в костеле сброшенные боги
На крыльях, словно мертвые жуки...
И я подумал, глядя на тебя,
Что тонкий стебель,
Жизнь твоя,
Как будто
Огонь свечи.
А ветер, теребя,
Такое пламя
Гасит поминутно...
Но что мне делать,
Если мы друг в друге,
Как в домике,
Живем в одной судьбе,
И я привыкнуть не могу к тебе, —
Вот как с собою
Не было разлуки?
Мы — островок.
Нерасторжима связь,
И не устала страсть,
И не допелась песня,
И роза красная
Увянет и воскреснет
Живою
Нашей
Памятью светясь!

3

На Лычаковском кладбище
во Львове

Ты помнишь львовское кладбище,
То Лычаковское кладбище,
Где каменные гробовницы
Тяжелые,
Тупорылые,
Безжалостные,
Бескрылые,
Построились в ряд, как ящеры,
Боящиеся заблудиться.
И в каждой пусто.
Тьма и земля.
На каждой надпись:
«Таких-то семья», —
Как будто квадратные тумбы
Подняв над землей,
Над собой,
Истлевшие руки
Вдруг двинули в бой
Против смерти...
И я захлебнулся
Нелепой, щеглиной мечтой —
За облаком вместе с тобой
Умереть на рассвете...

А на самом верху горы,
Надо всем Лычаковским кладбищем,
Стоял грустный поляк со знаменем
Тысяча восемьсот шестьдесят третьего года.

Он развернул свое знамя,
Как лодочник парус,
Он возглавил польское кладбище
И вез его к нам.
Здесь были похоронены повстанцы,
Успевшие скрыться в Галицию.
Они умерли в разное время,
Но лежали все под одинаковыми крестами.

Стоят кресты,
Ажурные и тонкие,
Они, как струны, вытянуты кверху,
И голоса их
Словно стали токами,
Движеньями листвы, лучей и ветра.
О, вы — как страны, вы — как струны,
Вы — как призраки!
В узоре
Средокрестий стрекозиных
Я вижу вас,
Упрямые, капризные,
Гордившиеся
Участью казнимых!
Вот Мариан Дашевский — двадцать лет.
Вот Зденек Мирославский — двадцать два.
Хелена Замаховска — девятнадцать...
Так вот он, бунт,
Двадцатилетних бунт,
Крестов ажурных сбившийся табун!
В них молодость сквозит, как будто свет,
А нам от света некуда деваться...

Списки расстрелянных в России
Были вырублены на граните,
Были вырезаны на кирпичач,
Которыми был обложен пьедестал
Грустного поляка со знаменем.
На каждом кирпиче фамилия
С указанием даты и места расстрела.
Ленточки имен, как ленточки венков
Или как струйки крови
Сбегали вниз по пьедесталам.

Но только были кирпичи разбиты.
Тут были поллитровочки распиты.
А сделал то москаль или хохол, —
Какая разница? — Болванчик, раб, монгол!
И вдруг я наступил на имена.
Зачем-то я смахнул песок с обломка.
Плита была отправлена потомкам.
Потомкам, как потемкам, не нужна.
Но все равно — мы увезли с собой,
Что эти люди были, были, были!
Как облака, а не как тучи пыли
Они исчезли где-то за чертой.

Мы тоже знали строгие порядки,
И жили мы, как ссыльные поляки,
И ждали нас превратности судьбы,
И жалили заочные суды.
Но в нас жила
Веселая пружина,
И нам двоим
Чертовски повезло:

Сопротивляться
Гениям прижима —
Теперь у нас такое ремесло!
Мы старимся?
— Слова, мой друг, слова!
Мы старимся.
А молодость права.

4

Встреча со счастьем

А на площади старой такие дома —
Словно писарские завиточки,
А замок высокий — такая тюрьма,
Что жандармы уныло искали улик,
Почему непрерывно сбегают у них
Героические одиночки.
И не знали, что башня настолько горда,
А гора так крута и надежна,
Что герою, уж раз он попался туда,
Не сбежать из тюрьмы — невозможно!
И я трогал веселые камни домов,
То шлифованные,
То граненые,
Словно здесь вереницы старинных томов,
Для меня одного сохраненные.
Отчего-то вдруг сделалось мне хорошо,
Удивительный солнечный зайчик
Заиграл, затрубил в непонятный рожок...
Вот и счастье!
А что оно значит?

Но нервишка в пенснишках
Шепнул, как всегда,
Что за счастье шальное
Расплата — беда.
Я бы с ним поквитался!
Но поздно.
Желтый зайчик подумал:
«Какого рожна,
Если слушать не могут
Такого рожка!»
Помутнел и отправился к звездам...
Залучить его снова
Не просто к себе.
Я сказал тебе тут же
О горькой судьбе:
Ты ведь рядом —
Возьмешь и поможешь,
Своего дударя мне одолжишь...

Вдруг самолеты реактивные завьили.
Они про нас с тобою не забыли.
Они вверху напоминали воем,
Что мы внизу — беспомощные двое...
А мальчишки где-то
Сидят в тюрьме,
Сидят в тюрьме
По горло в дерьме,
И смотрит на них,
Как будто на нас,
Мертвый и круглый
Совиный глаз...

А я, чудак, забыл про глазок,
Забыл про Запад,
Забыл про Восток,
Забыл, что мы у судьбы в руке —
Как птица в силке,
Как нож в кулаке.
Кого ударит
Тобой и мной?
Кто нас состарит
Своей судьбой?
И нужно мне на час или мгновенье
Глубокое, как обморок, забвенье
Простое счастье, детское незнание
Для состоянья противостоянья,
Чтобы в меня вошли лучи, трава
И запах солнца в сумерках сосновых...
Мне нужно ощущение основы,
Которая всегда была жива.
Ее давила глиняная сила,
Но силе
Искры Божьей не хватило.
И есть сопротивление одиночек.
Двадцатый век и знать про них не хочет,
Он хочет только силой все решить.
И он не убежит от поражений
Из тягостных осадных положений
От тех, кого не смог опустошить!

1965–1966

ЛИНИЯ ВЕТКИ

1

Как она началась

Я в молодости был наездником,
Большой начальник верил мне.
Был Сталин богом и наместником,
А я — ковбоем — комсомольцем,
Седлал текущие моменты,
Как необъезженных коней,
Скакал на них, куда придется,
В самозабвенье, в ритме бешеном.
И вдруг меня ударом спешили.
И старший лейтенант Абросимов
Мои расследует дела...
Так вот куда меня отбросило
Из комсомольского седла!
Но я себе нашел опору:
Простую землю, на которой
Сама история стояла
Среди полей, лесов и гор,
И мне она напоминала
Большой раскинутый шатер,
И жили в нем, но и отдельно,
В истории и параллельно
Загадочные существа —
Деревья и трава.

2

Прощание с прошлым

Деревья пасмурные, зимние,
Покрытые красивым инеем,
Им надо пережить мороз,
И каждый ствол, как будто торс
борца.

Он искривлен усилием.
И в каждой ветке напряженье.
Вздывается прозрачный сад,
Как неподвижное сраженье.
Деревьям некуда назад.
А на корнях, как на конях
Далекой юности герои,
Им тоже никуда не сдвинуться,
А все скакать, скакать, скакать, —
Быть может, в бурю опрокинуться,
А может, высохнуть, устать.
А может быть, и мне вратать,
И неизбежна эта участь —
Не жизнь, а жадная живучесть?

3

Проклятый вопрос

Зачем ты, дерево, растешь?
Зачем ты, солнце, светишь?
Любой ответ, конечно, ложь —
вот ты и не ответишь.
Ты пролетишь, как промолчишь,
лучами и листками,

и света скоростью промчишь,
и поздней осенью сгоришь
багровыми и желтыми —
во все леса —
кострами.

Да, можно жить и не узнать,
и не увидеть вихря,
во всем искать добра и зла
и ни во что не вникнуть.
А время движется, летит,
и временами года
оттаивает, леденит...

А где моя свобода?
Вот если бы узнать, зачем
опять листва сгорает
в огне слабеющих лучей
багровыми и желтыми —
во все леса —
кострами.

Вот если бы узнать к чему...

Но это — не по чину.

И я себе не сочиню,

Не причину

причины.

Сплошная линия вершин

и линия заката

От всех корней и всех причин

уводит вдаль куда-то,

и это все вовне,

во мне,

и все равно отдельно.

Как будто я живу вдвойне —

собой и параллельно,
как будто шли во мне года,
а я ушел от века.
Как будто...
Но куда, куда
Она уводит, ветка?..

4

Ветка и бессмертие

А ветка не уводит никуда,
она идет, в пространстве обрывается,
она живет, как вешняя вода —
такая очарованная странница,
всецело погруженная в себя,
в своих зеленых листьях,
как в сетях,
в своих зеленых листьях,
как в одежде
из красок, и движений, и теней,
в своих зеленых листьях,
как в надежде,
как в оболочке из ночей и дней,
как я в самом себе
и мы друг в друге,
и как переплелись влюбленных руки, —
она живет у смерти на виду.
И листья оторвутся на ветру,
и ветка омертвевает от мороза,
но все останется, и будет все равно
так воедино соединено,
так сведено

В одно,
как вдох — и воздух,
как я умру,
но жизни ощущение, —
не все, чем был,
а все, что понял я,
продолжится само,
без воплощенья:
продолжится вселенная моя.

5
Я строю дом

В чужих глазах,
В чужой душе,
в чужой судьбе,
друг в друге мы живем, не замечая.
Все кажемся соседями себе,
по-всякому в себе озорничаем.
То гадим, то кадим, а то годим, —
и походя чужой судьбе вредим.
Зато у нас законы, как загоны,
законы — генеральские погоны,
без окон арестантские вагоны —
мы едем.
А куда они везут?
Вдруг где-то вне законов —
Страшный суд?
А в щелку мне видны одни подробности.
Весь мир подробен до правдоподобности.
Торчат подробности,
как будто лес густой.

А мы — чем дальше в лес,
тем больше щепок...
И я ищу на все ответ простой —
на щелканье машин и птичий щебет,
простой закон, просторный, чтобы в нем
могло вместиться все, чем мы живем.
И я пишу стихи не оттого,
что я судьбой посмертной озабочен.
Мне нужен черновик.
Чертеж рабочий.
Я строю дом.

6
Рабочие эскизы

I
...Вот так живет трава
Без роду и без племени,
До времени — жива,
И памятна — до времени,
А дальше — нет как нет,
А дальше все по-прежнему,
Укрылся белый свет
Искристыми одеждами.
Лишь тот, кто на лету,
В движении, без пристани,
Влюбленный в высоту
Способен дольше выстоять.
И вот огни зарниц, —
А лес уснуть готовится, —
Дрожа в глазах у птиц,
Полетом их становятся...

II

Взлет цветка,
что на тонкой качается нити,
И, подброшенный в небо,
не падает вниз.
Взлет мечты,
взлет строки,
взлет
над почвой событий,
на столетье вперед и на собственный риск.
Заостренье корней
и листвы заостренье,
обращенное вниз.
И замедленный взлет:
напряжение роста.
Разлад. Раздвоенье.
Сила тяжести
и притяженье высот...

III

Огнеопасна высота,
И чем вершина выше,
Тем легче молнии искать,
Тем проще дерево достать,
Вершины шум услышав.
И брошенный на произвол
Сухих и быстрых молний,
От ветра вздрагивает ствол,
И дрожь уходит в корни.
И дереву в грозу бы стать
Приземистым и прочным,
Приноровиться, измельчать,

И быть поближе к почве, —
Но берегись — не берегись,
Корней слепая сила
Подбросила вершину ввысь
И там остановила.
И там, у смерти на краю,
От молний дрожь не пряча,
Шумит вершина:
 — так стою,
И не могу иначе!

IV
Здесь молния спустилась круглая.
Она — как синяя луна.
Нет, капля, втянутая ветками,
Ушла куда-то вниз она,
А по дороге ствол обуглила.
И снова это чувство странное,
Что дерево-то неживое,
Оно как палка — деревянное,
И как полено — неживое.
А ствол обрублен и расколот.
Он как обугленный солдат
Или как разбомбленный город.
Но он ведь молнией расколот,
И тут никто не виноват...

К чему я пришел

Но все равно — законы как загоны,
Законы — генеральские погоны,
Законы нам дают на все права, —
А где-то рядом небо и трава.
И все размечено, разграфлено, расколото
На страны, на события, на клетки,
А в одноклеточной истории все молодо,
Все внове — и расправы, и разведки,
И в одноклеточной истории — все сызнава,
Что там, в соседней клетке, — все равно:
— Ну ладно, рядом жертвовали жизнями,
А там опять такое же кино?
Вот если бы
Вмещал заботы зодчего
Всех стран артиллерийский генерал, —
Приказ смести все дочиста,
Все дочерна
Он в жизни бы тогда не подписал,
И если бы вмещал поэт — раскольника:
Царь против совести пошел, а я — стою,
То может быть совсем иною школьники
Увидели историю свою.
И если бы
Вмещали люди выгоду —
Жить и сейчас — и сразу сквозь века,
То им бы не указывала выхода
На памятниках Сталина рука.
И потому живет на нашей улице
Совсем особый, странный человек.

Не верят одноклеточные умницы,
Что он возможен в наш научный век,
Что он один — и каждый, и всеобщий,
Один на все пространства и века,
Себя же бьет и на себя не ропщет,
И смотрит на себя издалека.
И в нем вселенная,
Моя, его вселенная —
И солнце, и деревья, и трава,
Листва осенняя
И синева весенняя —
Кричит одно и то же:
— Я жива!

Мне негде жить, иначе, чем в других.
Уйти в себя? С собой огородиться,
Стать веткой или в камень превратиться,
Чтобы не знать ни мертвых, ни живых?
Нам негде жить иначе, чем друг в друге.
И там, внутри чужого бытия,
Вместив чужие радости и муки, —
Будь бережной, вселенная моя!

1965

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

*Айх, преславный мой сосед,
Собеседник и соратник,
Сочинитель и поэт,
Коренной шестидесятник.*

Последняя книга, над которой трудился Айхенвальд, была о его корнях и генах, о дедах и отцах. Для этого он накопал в архивах горы всякого добра. Как и положено настоящему писателю, он все время был в непрерывной литературной деятельности — собирал материалы, писал, сочинял стихи, обдумывал дальнейшие планы. Если бы таких людей небо призывало к себе по принципу: «он исполнил свой земной долг»; «он завершил дело своей жизни» — то они жили бы бесконечно: их долги со временем лишь возрастают, а главному делу конца не видно. Для Айхенвальда во всю его жизнь оно определялось так: бескорыстное служение России — как и для всей настоящей русской интеллигенции в течение двух веков. Гражданином мира Айхенвальд никогда себя не полагал, Дон Кихота ему интересно было рассматривать на отечественной почве, и Сирано говорит у него по-русски и сплошь на наши больные темы (см. последний его монолог в Юрином переводе).

Профессия Айхенвальда целиком отвечала и оной главной задаче, и его горячей натуре правдоискателя и проповедника — словом, никем иным он не мог быть, как школьным учителем словесности в старших классах. Он занимает почетнейшее место в блистательном

ряду знаменитых московских словесников 1960–70 годов, из коих, кроме Юры, сразу назову его жену Валерию Михайловну Герлин, Илью Габая и Тошу Яacobсона. Для них человечность и гражданственность были синонимами, и более всего их волновала нравственная красота литературы и искусства вообще, а русской — особенно. Преподавание литературы в старших классах — захватывающее дело. Завести класс на диспут, на анализ, на мысль, разбирая сокровища прозы и поэзии. Добиться, чтобы восчувствовали, прониклись, чтобы сами открыли... Сегодня я не знаю поприща благороднее.

У Айхенвальда школа продолжалась дома. Круг его знакомых и друзей на две трети состоит из бывших учеников. Разговор и диспут в этом кругу не прекращался (и не прекращается) никогда, но что особенно отличало Юру — он был веротерпим, умел слушать и, если был неправ, умел это признавать. Родовой признак культурного человека. Встречается редко.

Педагог, настолько, почти семейно близкий со своими учениками, в пору бурного подписания крамольных петиций сразу оказывался вплотную перед вопросом: «А ты?» Айхенвальд, разумеется расписался. Из школы пришлось уйти.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: таким образом Айхенвальд стал только писателем, сочинительство из попутного занятия стало главным. Он написал две очень хорошие книги о Сумбатове-Южине и Остужева. Занимался и просто поденщиной. Например, пересочинил либретто «Принцессы цирка» для кино. Это, так сказать, служба. Служение же тоже продолжилось, но по-своему. Нет, правозащитником Айхенвальд не стал, хотя знаком и дружен был чуть ли не со всеми

диссидентами в Москве. И дома у него сам- и там-издат не переводился. Вот Айхенвальд и стал автором тамиздата. За 1970-е годы у него вышло там несколько вольнолюбивых книг, из коих впереди всех совершенно крамольная — «Дон Кихот на русской почве». Он очень волновался накануне выхода очередной книжки. Он ждал репрессий и боялся их, но все-таки более всего он ждал самой книги и, дождавшись, гордился. Вот это мне в нем было особенно дорого — что хоть и боялся, а ждал и гордился.

Я все время с удовольствием удивляюсь, читая его стихи: от ног до головы педагога естественно ожидать поэзии вроде коржавинской, с его лиро-эпической интонацией и точными формулами. А у Айхенвальда — все нерв, все импульсивность и какая-то странная постоянная песенность. Он и читал свои стихи распевно, с какой-то отчаянной беспшабашностью. Так и вижу его на последнем вечере в Иностранке, в Овальном зале, с листками в руке, с этим покачиванием с пятки на носок, так и слышу это распевное чтение, и в голове и глазах — взволнованная радость встречи поэта с читателем. А это нечасто у него было.

И кажется мне, была у него еще одна глубокая радость, хотя я не слышал, чтобы он говорил об этом — радость, что дожил до новейших времен, до начала свободы, радость, которой кто-кто, а уж он-то всей своей жизнью, всем своим служением удостоился вполне.

Юлий Ким

31 июля 1993

СТИХИ АЙХЕНВАЛЬДА

Я думаю, мне очень повезло: мне привелось быть с Юрой Айхенвальдом в отношениях не только приятельских, но и дружеских, невзирая на все наши различия в темпераменте, вере, судьбе. Повезло и в другом: так получилось, что мне удалось содействовать тому, чтобы многое из написанного этим умным писателем увидело, наконец, свет, когда это было совсем нелегко. Кроме многих статей, опубликованных в журнале «Страна и мир», я подготовил к печати и пристроил в издательства две книги Айхенвальда.

Одна из них — на мой взгляд, лучшее из написанного Юрой — это двухтомный «Дон-Кихот на русской почве», блистательная апология «кихотизма», который автор отличал от «донкихотства» и полагал высшим проявлением человеческого духа. Я жду, что найдется увлеченный издатель, который приведет на русскую почву не только Дон Кихота, но и лучшую книгу о нем.

Вторая книга — это «Високосный год», книга стихов и прозы. Многие стихи из этой книги вошли теперь в настоящее издание. И сейчас, когда меня попросили для этого издания несколько слов о стихах Юры, я вспомнил, что ему самому и его жене Ваве всегда очень нравилось то предисловие, которое я предпослал мюнхенскому изданию книги в 1980 году. Сейчас, перечитав его, я понял, что многое, сказанное в этом предисловии, относится вовсе не только к «Високосному году», но и к поэзии Айхенвальда вообще. И я подумал, что Юре было бы приятно, если бы эти

строки сейчас стали известны и российскому читателю. Это тем более стоит сделать, что я писал о живом поэте, а только так о поэте и стоит писать. Впрочем, поэт всегда жив — уходят только люди.

Вот что написалось у меня тогда:

«Когда я попросил моего друга, в прошлом ленинградского, а ныне венского художника, сделать обложку для новой книги Ю. Айхенвальда, он прислал несколько эскизов. На всех них повторялся один и тот же мотив: раздвоенный фас-профиль сатурнова лица, расщепленное Время. Объясняя это свое решение, Борис Рабинович написал, что при чтении книги никак не мог уйти от ощущения какой-то раздвоенности автора. В отношении к Родине, в отношении к эмиграции, во всем... Мне это наблюдение кажется точным. Возможно, именно эта раздвоенность и мешает сразу получить у Айхенвальда так уж всем настоятельно необходимый ответ на традиционный русский вопрос: "Како веруешь?" Определить веру Айхенвальда — т. е. поставить пределы, ограничить — я бы не взялся, несмотря на многолетнее знакомство и дружеские личные отношения. Человек с ясно выраженным глубоким религиозным (и, пожалуй, даже христианским) сознанием, он тем не менее не поколеблется, обращаясь к Богу, написать:

*...темны Твои пути,
Там человеку правды не найти.
А если там себя найти он сможет, —
То много ль в том Твоей заслуги, Боже?*

Для Айхенвальда «Вехи» были и остаются одним из самых значительных фактов личной духовной биографии, тем не менее «противно, когда любители «Вех» вырывают эти самые вехи и носятся с ними в руках, как с кольями, отыскивая могилу какой-нибудь несчастной Перовской, чтобы этот кол ей в могилу забить» (из частного письма).

Такие иллюстрации можно было бы множить одну за другой, но, присматриваясь к ним, начинаешь замечать то общее, что порождает и одновременно снимает эту противоречивую раздвоенность — органическое неприятие крайностей, нежелание быть зачисленным раз и навсегда по чьему-либо ведомству, имманентная независимость духа. По закону маятника это иногда толкает его на крайние утверждения, которые кажутся контрастирующими с другими, сделанными совсем недавно...

*...Кто же я? Я один?
Раб? Кусок чьей-то жизни и плоти?
Я готов, Господин,
Но уж если я раб,
То Господен!
1973*

*...Но если я и вправду сотворен, —
То пусть я горд, завистлив, зол и слаб,
Но я Твое подобье!
Я не раб!
1978*

Эта противоречивость не мешает Айхенвальду быть поэтом редкой целостности. Если применить скомпрометированное, но точное слово, сама противоречивость диалектически создает в Айхенвальде эту целостность. Интонации его безошибочно узнаваемы, даже когда он прячется под маской. Как многие серьезные русские поэты, занесенные судьбою в славное шестидесятилетие, Айхенвальд часто и подолгу вынужден был уходить в перевод. Он переводил роستانовского «Сирано де Бержерака», польских, словацких и болгарских драматургов, либретто «Человека из Ламанчи» — знаменитого мюзикла по «Дон Кихоту». И каждый раз этот перевод приобретал все характерные черты айхенвальдовской поэтики. Я помню, как были поражены мы, слушатели, на первом авторском чтении одного из таких переводов: значительная часть его оказалась знакомой нам по более ранним, собственным айхенвальдовским стихам. И тем не менее, удивительным образом это был именно полноценный перевод.

(Тем, кто сомневается, что такое возможно, напомню, что в ныне классическом переводе того же «Сирано» Т. Щепкиной-Куперник в балладе гвардейцев-гасконцев вообще нет ни одной строки французского оригинала. Между тем, эта баллада считается главной поэтической жемчужиной Ростана в русском варианте).

Если выделить только одну, наиболее существенную черту в айхенвальдовской поэтической индивидуальности, то я назвал бы прежде всего чувство истории, со всей противоречивостью, всякой истории присущей. Из современных русских поэтов мало можно

назвать таких, кто так чутко воспринимал бы прошлое и — главное — воспринимал бы сегодняшний обыденный день как историю в становлении — не менее важную, чем хрестоматийные свершения.

Я думаю, именно этот историзм поэзии и прозы Айхенвальда и сделал его писателем преимущественно самиздатским. Официозная страна стремится жить вне истории, окостенеть.

Я помню, как в середине следствия по моему делу ко мне на допрос зашел зам. начальника следственного отдела Московского УКГБ Ю. Смирнов — чекист «призыва XX съезда», из тех, что стремятся казаться новыми, ничего не меняя по существу. Усевшись против меня и проникновенно рассказывая о своей «трудной и тревожной чекистской работе», он вдруг сказал, что пишет стихи. И прочел — стихи «о чекистском горении»:

*Горение — не тление, не дым,
Оно взлетает пламенем голубым... и т. д.*

Следователь, ведший допрос, восхищенно прищелкнул языком и воскликнул, обращаясь ко мне: «Слышали? Это вам не Айхенвальд!»

Это действительно был не Айхенвальд. Но меня поразило, как чекистская память из обилия прочитанного по профессиональной нужде самиздата немедленно и безошибочно выделила поэта, в наибольшей степени могущего служить антиподом прямолинейно-штампованного, недвижимого чекистского мышления. И не потому, что Айхенвальд в своих стихах стремится «подрывать и ослаблять». Айхенвальд — поэт, в общем-то, неполитический. Просто он — часть рус-

ской культуры, той, легкой руки называют «второй культурой». А она — никакая не вторая, она первая — и единственная.

*Двух Россий не бывает,
Россия одна на земле...*

«Високосный год» — книга трагическая, посвященная памяти неожиданно погибшего Гриши Подъяпольского, нашего общего друга, значительность фигуры которого все более и более осознается. Не случайно мотив длящихся потерь всплывает то в одном, то в другом месте книги. «То похороны, то проводы»... И снова о том же...

Я не знаю, как книга будет читаться через полвека, но сейчас — это страницы нашей общей памяти, памяти тех, кто пережил и переживает трагические 1970-е годы. Трагические и, вместе с тем, радостные, ибо нет сомнения в том, что им предстоит во многом сформировать облик нашего будущего, каким бы оно ни было. И тогда сегодняшние потери могут обернуться приобретениями, как это уже было не раз в истории.

«Високосный год» — вторая книга Ю. Айхенвальда, публикуемая на Западе. Отделившись от автора, самиздатский текст начинает жить своей жизнью и неведомыми путями сам ищет путей к читателю и издателю. Нашел свой путь и «Високосный год». Радостно сознавать, что «издательские трудности», о которых с опасением и болью пишет Айхенвальд, миновали его по эту сторону границы. Теперь книге предстоит обратный путь — в Россию, к читателю, туда, где она родилась.

Теперь завершается и этот путь — и изгнанные люди, и изгнанные книги одна за другой возвращаются в Россию, уже не в Советский Союз. Потери действительно обернулись приобретениями, да такими, о которых в те далекие семидесятые мы не могли и мечтать.

Тем горше и бессмысленней потери, которые происходят в конце пути...

Кронид Любарский

Мюнхен, 1980—Москва 1993

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге и ее авторе 4

Юдифь Каган

СТИХИ

Бык 11

Родословная 13

«Листвою ветка шелестела...» 16

«Есть не враги, а антиподы...» 17

Сводка погоды 18

Ученый 20

Гамлет в 1937 году 21

Смерть художника 24

Стихи о суровости 25

Смерть Винтерштейна 26

Отщепенец 27

«...Одежда всякая на мертвом...» 29

Диалог о вечном жиде 30

Новый год 32

Церковь над Волгой 34

Осенняя элегия 36

Лето 1961 года 38

Стихи от усталости 39

Черный камень на белом камне 41

Смерть поэта 42

Вечернее размышление о Божьем величии 44

Розамунда 46

«Передо мной течет река...» 48

Панорама цветной сумятицы 49

- «И что же получается, друзья?...» 51
«Человеку нельзя операцию сделать...» 52
«России, не нам, а Имени...» 54
Похвала ямбу мерой амфибрахия 55
«И вот, когда я думаю о смерти и судьбе...» 56
Из письма другу 59
Новая весна 61
Стихи о просветленном блаженстве 63
Все, что осталось 65
Черные слободы 67
Переводная картина из русской истории 69
Прогулка в Суздальском Покровском монастыре
во время киносъемок 71
Суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь 73
Столетие влюбленных 76
Собор и мастер 79
«Надо жить, не опомнившись...» 81
Медитация о Тобольском соборе 82
«Прошлое — это не я и не ты...» 84
Триптих о Москве 85
«Все в двадцатом веке смутно и темно...» 88
Дом Батюшкова 89
«Сосны в солнце и песке...» 91
Два голоса 93
«Летела желтая листва...» 94
Тутаевское чудо 97
«Ах, как мало меняются люди...» 99
«Все в мире переливчато и хрупко...» 102
«Я все равно скажу вам немо...» 103
«Никто нигде не ждет стихов...» 104
Путевая зарисовка 105
«Ах, стать бы мне китайцем...» 106

- «И все равно, ни на одно мгновение...» 108
«Хочет Даниил-Заточник...» 109
«Вот вам “быть или не быть”...» 110
Петербург 111
«Россия, родина, загадка...» 112
Памяти погибших в двадцатом году 113
Эмигрант 115
Сатира на наших мещан 117
«Надо мной проплывают...» 119
Классическая музыка в концлагере 121
Бог и дьявол 123
Новогодний сонет 124
Стихи дочери 125
«Обстругивая строчки...» 127
Весна в Донском монастыре 129
Дни простых ремесел 131
«Есть у стихов достоинство и честь...» 133
«То похороны, то проводы, Кто в Лету...» 134
«Не надо верить темноте...» 135
Социологический шарж 136
Размышления о беглецах 138
Побег 140
«То похороны, то проводы, — Что значит...» 142
После похорон Кости Богатырева 143
Памяти Кости Богатырева 144
«Уходит поколение победителей...» 145
«Обрывается вдруг...» 147
Медитация о матерном слове 148
Чудо на Ваганькове 151
Письмо друзьям 152
Экспромт 154
«Ненавижу я хозяйку...» 155

- Прощание 157
- Памяти Александра Галича 158
- «Я не хочу ни зла, ни боли...» 159
- «...Он мыслит в терминах Добра...» 160
- «Моя судьба литературная...» 162
- «Что значит “рукописи не горят”...» 164
- «Нет, я не раб Господен...» 166
- Молитва о Боге 168
- «Когда душат тоска и боль, и гнев...» 169
- Свалка на пустыре
во время лыжной прогулки 170
- «А может быть, сейчас затмение Бога...» 172
- «Бомбы разрываются близенько совсем...» 173
- «Без мудрости и страсти...» 174
- «Черный снег на фоне белом...» 175
- «Сегодня пасмурный денек...» 176
- «Все соткано из темноты...» 177
- «Может ли прийти в себя покойник...» 178
- Памяти М. А. Бугуславской 179
- Воспоминание о великих свершениях 180
- «Поэзия должна быть смысловой...» 183
- «Что останется от жизни?...» 184
- «Пусть нет меня повсюду...» 186
- «Жизнь моя идет к концу...» 187
- «Что значит чудное мгновенье?...» 188
- «Жизнь одноразова...» 189
- «Стихи, в которых время анонимно...» 190
- «Метафоры многообразны...» 191
- «Что же получается...» 192
- «Сушит душу усталость...» 193
- «Не к берегу другому...» 194

ПОЭМЫ

Поэма об имени 197

Поэма о моей любви 209

Сентиментальное путешествие 227

Линия ветки 238

Вместо послесловия 248

Юлий Ким

Стихи Айхенвальда 251

Кронид Любарский

Содержание 258

Юрий Александрович Айхенвальд
СТИХИ И ПОЭМЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Дизайн, макет, верстка
О. Б. Филиппова

Подписано в печать 27.09.2018
Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.

Издатель: Гражданская преемственность —
право, жизнь и достоинство
101000, Москва, Лучников пер., дом 4, подъезд 3,
комната 1.
Тел. (495)-621-04-24
Тел./факс (495)-625-06-63

Отпечатано в ООО «Шацкая типография»
391550 Рязанская область, г. Шацк, ул. Марина, 1.
Тел. (49147) 3-12-65

ISBN 978-5-905559-14-3



9 785905 559143 >